

Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов
Марина и Сергей Дяченко



Пентакль

Марина и Сергей Дяченко

Пентакль

«Автор»

«Автор»

«Автор»

2005

Дяченко М.

Пентакль / М. Дяченко — «Автор», «Автор», «Автор», 2005

Ведьма работает в парикмахерской. Черт сидит за компьютером, упырь – председатель колхоза. По ночам на старом кладбище некий Велиар устраивает для местных обитателей бои без правил. На таинственном базаре вещи продают и покупают людей. Заново расцветает панская орхидея, окутывая душным ароматом молоденькую учительницу биологии. Палит из «маузера» в бесов товарищ Химерный, мраморная Венера в парке навешает искателей древнего клада. Единство места (Украина с ее городами, хуторами и местечками), единство времени (XX век-«волкодав») и, наконец, единство действия – взаимодействия пяти авторов. Спустя пять лет после выхода знаменитого «Рубежа» они снова сошлись вместе – Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов, а также Марина и Сергей Дяченко, – чтобы создать «Пентакль», цикл из тридцати рассказов. В дорогу, читатель! Встречаемся в полночь – возле разрушенной церкви. Или утром под часами на главной площади. Или в полдень у старой мельницы.

© Дяченко М., 2005

© Автор, 2005

© Автор, 2005

© Автор, 2005

Содержание

Пентакль упрямцев	9
Баштан	12
Бои без правил	24
Чертова экзистенция	38
Картошка	47
Оборотень в погонах	60
Пентакль страстей	68
Бурсак	71
Сатанорий	82
Сосед	90
Венера Миргородская	95
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Андрей Валентинов, Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Дяченко Пентакль

Доброжелательные люди – не предметы для искусства.
С. Т. Аксаков



Зачем выпрыгивать в окно, когда проще перевернуть мебель?

Окна здесь не мыли с прошлого века. Мебель тоже не меняли – столы из белого пластика, высокие сидалища типа «сядь-и-дрожи», древний кофейный автомат, встретивший нас недовольным гудением. Портрет Николая Васильевича Гоголя на пузырячатой от краски стене был явно вырезан из юбилейного «Огонька» тридцатилетней давности. Рядом кнопками – две сверху, одна внизу – прикрепили фотографию: в лучах рассвета сияла рубиновая звезда, водруженная на шпиль. Звезду чья-то веселая рука, вооружившись углем или черным фломастером, заключила в извилистый круг. Пожалуй, геометр-любитель перед работой изрядно хлебнул горькой.

Звезда в круге.

Пентакль.

Ушедший Век-Волкодав все еще держался в этом странном кафе, куда мы, пятеро, завернули, спасаясь от внезапного дождя. Цеплялся за жизнь всеми годами – когтями, зубами, щербатыми и сточенными от старости, в особенности последними двумя-тремя десятками. Бармен, обеспечив каждого чашкой напитка, пахнущего горелой резиной, удалился. Спина бармена излучала гордость, достойную венецианского мавра: сделал дело – гуляй смело!..

Тихо. Пусто. Двадцатый век.

Прошное.

- Луиджи Пиранделло, нобелевский лауреат. «Шесть персонажей ищут автора».
- С точностью до наоборот. Авторы ищут персонажей.
- Шестеро? Ты себя за двоих посчитал?
- Смею напомнить, ничем хорошим у Пиранделло эти поиски не кончились. «Видимость! Реальность! Игра! Смерть! Идите вы все к черту! Свет! Дайте свет!..»
- А портрет Гоголя – знак, между прочим! Даже перст – указующий.
- Ага... и нос тоже. Указующий.
- На что? На малороссийскую экзотику? На гоголь-моголь с горилкой-морилкой?
- Новый Миргород?
- А что?
- А ничего...

На улице лил дождь. Прохожие спасались под зонтами, под козырьками подъездов, в арках дворов. Портрет классика смотрел мимо нас в залитое водой окно. Классик упрямо воротил длинный нос от рубинового пентакля. Горчил кофе. Ненаписанная книга Виём стояла на пороге. Поднимите мне веки...

Поднимите мне век.

Двадцатый.

- Ловим героев, а в полночь встречаемся у разрушенной церкви и докладываем об успехах?
- Ведьма работает в парикмахерской? Черт сидит за компьютером? Упырь – председатель колхоза? Гоголевской Малороссии давно нет.
- Если ищешь чего-то необычного, можно выпрыгнуть в окошко. А можно просто перевернуть мебель. Так сказал Лир.
- Король?
- Король. Эдвард Лир, король нонсенса.

Тишина пустого кафе, тишина ушедшего века, века железа и пластика, ничем не похожего на времена патриархальной Диканьки. Все по-другому, все иначе.

Дождь. Кофе оставалось на самом доньшке.

Портрет скептически молчал.

– Между прочим, для Гоголя Миргород – не символ глухой провинции, как в учебнике написано. Для него он – Мир-город, средоточие всего, что есть на свете.

– «Мир-город» – так раньше переводили название «Иерусалим». Все вспоминают Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича с их лужей, но в «Миргород» входит и эпический «Тарас Бульба».

– Ну, лужа – это центр стабильности! Эстафета веков!

– Сейчас на месте той лужи – пруд с лебедями. Источник миргородской целебной воды! Иван Иванович с Иваном Никифоровичем по золоту ходили. Вот вам и разница.

– А дождь, между прочим, кончился. Пошли?

Чашки с легким стуком опустились на пластик.

Пошли? Пошли!

Встречаемся в полночь – возле разрушенной церкви. Или утром под часами на главной площади. Или в полдень у старой мельницы.

Легко стукнула дверь.

– Сочинители! – вздохнул бармен, соткавшись прямо из воздуха, пропахшего горелым кофе. – Наворотят мудростей! Разве что пан ректор Киевского университета ихние выкрутасы разберет, и тот небось в затылке лысом не раз, не два почешет!

– Какие ведьмы в наше просвещенное время? – согласился кофейник. – Какие черти? Писали бы лучше про драконов, про баронов... Мебель, понимаешь, им переверни!

Белый стол поднял ножку и почесался. В идее перевернуться было что-то привлекательное. Но спорить с бывалым кофейником он не решился.

– А все-таки что ни говори, как ни верти, – Портрет задумался, степенно кивнул, – а все-таки разное в мире бывает. Редко, но бывает!

И не выдержал: скосил левый глаз на пентакль.

Словно боялся, что две верхние кнопки отвалятся и звезда в круге перевернется вверх тормашками, как мебель у короля нонсенса. Тогда хоть в окошко прыгай...

Зачем выпрыгивать в окно, если любой этаж – первый?!

Пентакль упрямцев

I



Когда пентаграммы, иначе – пентакли,
Закружат дома в безымянном спектакле
И демоны освободятся – не так ли? —
То вздрогнет асфальт под ногой.

И пух тополиный – волокнами пакли,
И с бурсы хохочет угодник Ираклий,
И глотка охрипла, и веки набрякли...
Ты – нынешний?
Прошлый?
Другой?!

Пройдись не спеша от угла до угла,
Дождись, пока в сердце вонзится игла.

Баштан

Хата была очень стара. За десятки лет соломенная кровля поросла мхом, а плетенный из лозы дымарь кое-где разрушился, и потому дым шел не только сверху, но и валил из прорех. Никого это не печалило. Хату белили каждый год перед Пасхой. Рядом помещалась комора – хозяйственная пристройка, сарай. Перед ней имелся широкий порог, на котором можно было играть «в камушки», или выстругивать что-то, или просто сидеть; правда, посиделки случались редко.

Вся семья работала, и даже для младшенькой – Оксанки – всегда находилось дело.

Омелько был предпоследний ребенок в семье. По возрасту ему давно полагалось доверять корову, но доверяли только черную свинью, которую следовало гнать на выгон и не отходить от нее ни на шаг. Свинья так и смотрела в чужой огород – Омелько не мог ни прикорннуть, ни с хлопцами поиграть, ни лодочку смастерить.

Свинья свою власть понимала, смотрела на Омельку нагло и хрюкала издевательски. В наказание Омелько иногда катался на ней верхом.

За коморой тянулся так называемый сад – плодовых деревьев там не было, если не считать две-три дикие груши на самом краю. В глубине росли липы – вековые, в три обхвата, дальше – осины, а еще дальше, возле болота, – вербы. Под деревьями поднималась крапива в человеческий рост; когда старшей сестре Варьке поручали нарвать крапивы для свиньи, Омелько всегда бежал следом. Во-первых, в крапиве сплошь и рядом случались птичьи гнезда, и Омелько становился на четвереньки, чтобы разглядеть рябые яйца или кончиком пальца потрогать птенцов. Во-вторых, Омелько точно знал, что и детей находят в крапиве. Старших братьев Павла и Семена, и Варьку, и его с Оксанкой нашли в старом «саду» и сразу отнесли бабе Рудковской, чтобы «пуп завязала». Пробираясь босиком по скошенной крапиве и почти не чувствуя жжения (подошвы с весны задубели, как подметка на сапоге), Омелько мечтал найти в крапиве ребеночка. Возни, конечно, потом не оберешься – качать колыбельку, совать в рот «куклу» (пережеванный хлеб в тряпочке), таскать с собой на улицу и следить, чтобы мальчишки не обижали... Но зато можно будет всем рассказать: это я его в крапиве нашел! Я!

До сих пор младенцы в крапиве не попадались. Может, и к лучшему: семья и без того большая, а земли мало. По вечерам отец нередко заводил с матерью разговоры: мол, говорят, в Сибири есть свободная земля и ее дают крестьянам. Надо ехать в Сибирь, в Омск, в Томскую губернию – куда угодно, тут с голоду пропадем...

Засыпая, Омелько видел необъятные просторы этой сказочной Сибири. Там рожь поднималась на высоту деревьев, каждый пшеничный ус был с Омельку ростом...

Но дальше разговоров дело не шло.

Свинья опоросилась, и хлопот прибавилось. Все свиное семейство оказалось на Омелькиной ответственности; отец известен был строгостью, ему бесполезно объяснять, что поросенок-де сам отбился от выводка и потерялся. Следы хворостины не сходили с Омелькиного зада – как и с Семеноваго, Павловаго и даже Варькиного. Только Оксанку отец баловал и порол реже прочих.

За утешением и советом Омелько приходил обычно к деду. Тот жил в балке, в стороне от села. Выбираться к нему было не так-то просто еще и потому, что дед и отец не дружили. Омелько не знал почему. И не расспрашивал особенно – стерегся.

Дед, которого звали Мамаем, седой и лысый, никогда не носил шапки; его голова казалась Омельке темным яйцом в гнездышке из белейшего пуха. Широценная дедова рубаха стягивалась на горле вышитым шнурком. Штаны были необъятные и очень просторные, – помнится, когда Омелько числился еще «бесштаньком» и ходил в одной длинной рубашонке, ему мечталось о таких штанах...

Дед выстругивал из дерева всякий хозяйственный инструмент и рассказывал сказки про водяных, про леших, про русалок и мавок. Про колдунов и ведьм. Про козаков, про турок, про ляхов. Про войну. Стоя в церкви и слушая про рай и ад, Омелько воображал себе рай как низкий темный курень, где сидит дед, попыхивает трубкой, вытесывает «зубы» для грабель – и рассказывает, рассказывает, искоса поглядывая светло-голубыми, как небо, выпцветшими глазами на млеющего от счастья внука.

* * *

Пришел день – Омельку посадили верхом на рыжую кобылу и приказали вести коней на пастбище. А со свиньей и ее выводком теперь мучился другой хлопец – соседский, помладше.

В первые дни не обошлось без слез – Рыжая оказалась пугливой до невозможности. Малейший звук, стук, крик, появление на дороге чего-то нового приводили ее в ужас, и она кидалась в галоп сломя голову, не разбирая дороги. За подругой послушно бежал Вороной. Омелько, слетев с лошадиной спины на землю, тут же вскакивал, несмотря на ушибы, и гнался – с ревом – за обоими. Догнать, конечно, не мог и долго бродил по лугам, продираясь через верболоз, размазывал по лицу слезы, высматривая пропажу.

Потом приноровился – забираться на лошадь и слезать с нее, путать и распутывать, держаться за гриву и ездить верхом. И вот тогда началось самое интересное.

Их было четверо, пастушков. Они смело уезжали далеко от родных Терновцев, спутывали лошадей, валялись на траве, грызли принесенный из дома хлеб, закусывали чесноком. Купались в речке и прудах-«копанках». Беседовали; все товарищи Омельки были старше и опытней – он больше слушал, чем говорил сам.

Конечно, они чаще хвастали, чем рассказывали правду, – это даже Омелько понимал своим маленьким умишком. Например, Андрий божился, что среди бела дня, при собаке на длинной цепи и стороже в сторожке ему удалось обнести панский грушевый сад. Тихон рассказывал, как обдурил панского объездчика и наелся малины в малиннике за рвом и забором (каждая ягодка с кулак! Вот верите, хлопцы!). Но мудреней всех выдумал Лесько – он-де выкатил огромный арбуз с баштана над Студной!

Про баштан рассказывали такое, что и в страшном сне не приснится. Про Клятую Церковь и то брехали меньше. И взрослые к нему боялись подходить, а уж если малой сунется – пороли так, что неделю сесть не мог. Баштан принадлежал рыжему немцу, панскому управителю; там, говорят, и вправду росли сладчайшие арбузы, которые немец отсылал продавать на базар в самый Киев. Кстати, у здешних панов все было набекрень. Родичи самих Матюшкевичей, в дальних предках они числили лихих казацких сотников. Вокруг усадьбы разбили чудопарк, где мраморная девка Венера ночами гуляла и морила смертью любопытных дурачков. А в управляющие себе паны выбирали людей, знающих с пеклом. Один из управителей, говаривали, выращивал страшный цветок – орхидею! – и тем сгубил безвинную панночку. Другой летал в небе на зачатом коромысле. Нынешнего же немца в округе считали не просто нехорошим человеком – злодеем, каких свет не видывал, а баштан его – проклятым местом.

Вроде как и черта там встречали раз или два.

Конечно, над Леськом стали смеяться. Он покраснел, доказывая, что все правда и все так и было, что черти да, гнались, но не догнали, потому как он, Лесько, очень справно полз на пузе и арбуз катил перед собой. А когда черти совсем хватали за пятки, тут он сбросил арбуз в Студну, переплыл с ним на другой берег и там уже разрезал ножиком и съел. «Один съел целый арбуз? – умирал от смеха Андрий. – Или с чертями поделился?» Дошло почти до драки. Спутанные кони неодобрительно косились, дергали ушами, фыркали. К счастью, кто-то вспомнил, что пора собираться домой – солнце вон где, а заехали далеченько... Так все и

сошло Леську, разве что Андрий, по натуре злопамятный, иногда припоминал выдуманный подвиг: «А как арбуз, сладкий? А чертям оставил кусочек?»

Омелько пробовал арбуз всего несколько раз в жизни. Своего баштана у семьи не было, в Терновцах из бахчевых выращивали одну тыкву, а покупать сласти на рынке отец считал баловством. Немцевы владения детям велели обходить десятой дорогой. Омелько и обходил; только иногда, проезжая мимо, накидывал повод Рыжей на ветку старого дуба у дороги и быстро, чтобы никто не заметил, забирался почти на самую верхушку.

Оттуда был виден баштан – квадратное поле, где прямо на грядках задумчиво лежали темно-зеленые арбузы, каждый размером с голову взрослого мужчины. Казалось, их никто не охранял; Омелько пытался вообразить чертей, как они ходят с вилами вдоль ограды, но в солнечном свете черти выдумывались какие-то нестрашные. Вот когда на поле показывался рыжий немец в куцем кафтанчике, в панских штанах и начищенных до блеска сапогах – вот тогда в самом деле бывало жутко.

Но немец показывался редко. Чаше выходил сторож – усатый, стриженный «под горшок», вечно хмурый и злой. Оглядывал баштан и возвращался к себе в сторожку. Этого сторожа хорошо знали все хлопцы в округе – он мог вытянуть кнутом ни за что ни про что. Однажды пастушки, заговорившись, присели перекусить под самой границей панского леса, где строжайшим образом запрещалось собирать хворост. Хлопцы и не собирали, они даже за ограду не успели забраться, но усатый сторож рассудил по-своему: налетел верхом, стал бить, до кого мог дотянуться, а Омельку, самого младшего, загнал в угол – спиной к ограде, лицом к верховому.

Куда деваться?

Хорошо, Омелько не растерялся. Нырнул под ноги лошади и выскочил с той стороны. Рисковал, конечно, да как иначе?

Сторож очень не нравился Омельке; и, глядя на него с ветки дуба, парнишка вздыхал и хмурился.

Рыжая ржала внизу и дергала повод, Вороной, стоя рядом, беспокоился, да и по дороге вот-вот мог кто-нибудь пройти или проехать. Омелько слезал, обдирая ладони, снова вскарабкивался на спину Рыжей и продолжал путь, раздумывая об арбузах и еще о том, есть ли у немца собаки. Можно ли в самом деле арбуз выкатить? Днем нельзя – поле как на ладони. А ночью? Если ползти тихонько-тихонько, а перед тем побрызгаться святой водой и взять у деда оберег от чертей?

* * *

– На что тебе оберег? – спросил дед.

Омелько взялся плести: мол, отец скоро начнет отправлять его с Вороным в ночное, а если ехать мимо старой мельницы ночью, то непременно увидишь черта, и для этого дела как раз нужен оберег. Дед сдвинул брови – Омелько осекся на полуслове.

– Ты, хлопец, крестись, когда примерещишься, – сурово сказал дед. – Крестись и молитву тверди. И в те места, куда ходить не велено, – Боже упаси тебя сунуться, хлопец.

Омелько испугался и поначалу думать забыл о баштане. Тем временем подошли жнива, и стало не до баловства.

Колеса от воза замочили в пруду возле берега; обязанностью Омелька было бегать туда каждый день, проверять, не поднялись ли колеса над поверхностью, не греются ли на солнце. Здесь же намокал бочонок, в котором повезут на поле питьевую воду; всю зиму он хранился на чердаке, высох и прохудился и теперь размокал, «пил воду». Время от времени отец вытаскивал его на берег, опорожнял и снова наполнял, проверяя, где течет. Накануне отъезда выяснилось, что одна самая упрямая щель не желает затягиваться, и тогда отец велел Омельке бежать

и наколупать дегтя с тележных осей. Омелько принес в пригоршне еще не загустевшего дегтя, отец замазал щель, и бочонок сделался готов окончательно.

Выкатили из воды тяжелые колеса, прикатили во двор и надели на оси. Нагрузили возы необходимым в поле инструментом – косы, грабельки, казан для каши, «катряга» – деревянный каркас, покрытый полотном, складной шалашик, в котором будут ночевать на поле жнецы; «таганки» с деревянным крюком, чтобы вешать казан над огнем; единственная на всех свитка, которой работники станут укрываться ночью...

До рассвета тронулись. Солнце встречали уже в поле. Отец и братья косили, мать и Варька собирали снопы, но еще не вязали – колосья мокрые, в росе, пусть подсохнут... Омелько бегал туда-сюда, подносил воду, собирал колоски, подавал «перевесла» – соломенные косички для перевязки снопов. До завтрака все наработались, устали; наскоро позавтракали хлебом и салом – жатва в этом году началась уже после Петра, пост закончился, семья разговелась. Не прерываясь ни на секунду, снова взялись за работу...

Солнце поднималось все выше. Над океаном ржи подрагивал, переливался струйками полуденный зной. Носились голубые бабочки, опускались на голубые цветы – васильки...

Омелько орудовал граблями, губы его слиплись от жажды, и ему мерещились арбузы. Горы арбузов; каждая зеленая голова усмехалась алым ртом, подмигивала, исходила сладким соком.

* * *

Успели сжать чуть больше половины, и тут задождило. Ни косить, ни вязать. Отец стоял посреди поля, глядя в серое, обложными тучами закрытое небо. В его глазах застыло непонятное выражение: если бы Омелько верил, что отец может чего-то бояться, – решил бы, что ужас прячется на дне отцовских глаз. Старшие хмурились. Омелько помнил один по-настоящему голодный год – он тогда был совсем маленьким и вспоминал не столько тупую резь в желудке, сколько панический страх. Всем в те дни было страшно, за окнами бродили волосатые тени, подходили близко, Омелько просыпался среди ночи от негромкого костяного скрипа...

Братья дремали в коморе, зарывшись в сено. В темноте пофыркивали Рыжая и Вороной. ...А если все-таки ночью?

В такую погоду немец не выйдет караулить. В такую погоду даже собаки спят под крыльцом, накрыв морду лапой.

Омелько прекрасно знал, что делать с арбузом. Он не стал бы сразу резать его и есть; он сплавил бы добычу по Студне. Спрятал бы на берегу надежно, в лопухах. И когда хлопцы соберутся печь картошку – вот тогда он выкатил бы арбуз прямо к костру. Что бы сказал Андрий? А Тихон? А задавака Лесько?

Морось тянулась изо дня в день. Колоски на поле поникли; к отцу зашел сосед, они о чем-то говорили вполголоса, но Омелько слышал отдельные слова: за спрос денег не берут... сходил бы... по весне пухнуть... а все-таки сходил бы...

Сосед ушел хмурый, а отец и вовсе почернел, как туча.

Дождь не прекращался, сжатые снопы прилипли к земле. Отец накинул свитку и пошел – Омелько видел – куда-то за село, в балку.

Вернулся бегом. Крикнул Павлу и Семену:

– Запрягай! Поехали!

В суматохе погрузились на возы вместе с инструментом. Пока ехали на поле по раскисшей дороге, дождь прекратился; солнце, правда, не выглянуло, но поднялся ветер. Посветлело небо – и сразу посветлели лица. По дороге один за другим потянулись возы: люди спешили дожинать свой хлеб, пока не поздно.

Ветер сушил мокрые колосья. Мать и Варька кинулись переворачивать снопы, ставить «будкой», чтобы скорее просохли. Оксанка собирала выпавшие колоски. Отец водил ладонью по несжатым стеблям, шевелил губами, пытаясь определить: можно уже косить или погодить немного?

Павел и Семен разбирали косы. Омелько стоял, не в силах оторвать взгляд от одинокой белой фигурки, идущей по полю по направлению к балке.

Дед шел, раскинув руки ладонями кверху, ветер развеивал на нем рубаху и широченные штаны. Дед шел, и небо над ним становилось светлее. Казалось, за лысой макушкой расходится светлая полоса – как след от лодки, только не на воде, а на небе.

Отец перекрестился:

– Давайте, хлопцы... Днем не успеем – ночью справимся. Давайте, с Богом...

И взвились, тускло блеснув, зашипели в движении косы.

* * *

Зайти к деду через день-другой, как собирался, у Омельки не получилось. Небо стояло по-прежнему пасмурное, готовое пролиться дождем, солнце выглядывало мельком. Жали ночью и днем, а сжав все до колоска, принялись возить снопы.

Сноповоз Омелько любил. На поле едешь, подскакивая в пустой телеге, как мячик, бьешься тощим задом о «рубли», которыми потом придавят снопы на возу; зато возвращаешься, как король, – высоко, мягко, покачивает, будто на облаке плывешь... Отец вел Вороного, а Павло Рыжую, и оба вели так умело, что ни один воз ни разу не перевернулся. А такое случается – бывало, приходилось останавливаться и помогать какому-нибудь недотепа поднимать на колеса завалившийся воз...

Сверху, со снопов, Омелько увидел немца.

Отец и Павло быстренько отвели возы с дороги. Павло чуть не повис на поводу у Рыжей – она ведь и от куста шарахается, а тут вправду есть чего пугаться. Едет по дороге коляска с откидным верхом, в коляске – немец в клетчатом кашкете, надвинутом низко на лоб. На козлах – усатый сторож, весь в черном. У Омельки сердце ушло в пятки.

Коляска поравнялась с возом. Омелько близко-близко увидел клетчатый кашкет, куцый сюртук, рыжие усы и бачки, льдистые голубые глаза. Немец равнодушно скользнул по хлопчику взглядом.

Павло успокаивал Рыжую и вполголоса бранился. Отец молча выводил Вороного опять на дорогу, а Омелько, приподнявшись на снопах, смотрел коляске вслед. И простая мысль, прежде заслоненная страхом, взошла в нем, как солнышко: а ведь баштан-то без охраны оставили!

* * *

Поздно вечером, когда уставшие за день труженики уснули как убитые, Омелько выбрался из коморы.

Впервые за много дней тучи разошлись, и это показалось ему хорошим знаком. Луны не было; небо усыпали звезды, тянулся Чумацкий шлях, всеми цветами переливался Волосожар. Омелько затрусил по дороге, стараясь, чтобы соседские собаки не услышали. В селе лай перекидывается от хаты к хате, как пожар, а Омельке не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про его авантюру.

Он крался, удивляясь собственной смелости. Немец со сторожем поехали в город, а больше на баштане – он знал – никого нет. Может, поехали договариваться насчет базара; может, через день-другой уже не будет никаких арбузов, пустые грядки останутся. И съест

какой-нибудь паненок в Киеве сладкий ломоть, истекающий соком, а он, Омелько, будет про-
клиная себя за трусость и нерешительность...

Над горизонтом, над кромкой леса, показалась большая желтая луна.

Следовало спешить.

Ночь выдалась теплая, но Омелько дрожал, добравшись наконец до баштана. Ветер улегся. Было так тихо, что Омельке мерещилось слабое гудение внутри собственных ушей. Он поглубже натянул картуз с треснувшим козырьком. Постоял еще. Прислушался. Нашел в плетне щель, достаточно широкую, чтобы протиснуться. Был он верток и худ, правда, боялся порвать сорочку. Обошлось; через секунду хлопек уже стоял на баштане, на четвереньках, обомлевший от страха и счастья.

Быстро перекрестился, огляделся, нет ли где чертей. Тихо. Темно. В отдалении едва-едва белеет сторожка. Поплевал на всякий случай через левое плечо, а потом и через правое. Трижды прочитал «Отче наш». Лег на пузо...

И пополз, извиваясь выюном.

Луна поднялась выше. Скоро она все тут зальет светом. Надо хватать первый попавшийся арбуз и давать деру. Но арбузов поначалу не попадалось – только ботва, пышные заросли. Омелько уж испугался, что предусмотрительный немец, перед тем как ехать в город, велел все собрать и запереть в коморе...

А потом он натолкнулся на арбуз лбом – так, что шишка выскочила.

Не удержавшись, поднялся на четвереньки. Каким-то чудом его занесло на самую середину баштана. Вокруг на грядках лежали, тяжело вдавившись в грунт, круглые, темные...

Омелько часто задышал. Луна светила вполсилы, он не мог как следует рассмотреть поле вокруг; огляделся, нет ли опасности, ничего не заметил – и вытянул шею, поднявшись чуть ли не в полный рост...

Не поверил глазам. Принялся тереть их, растер до слез.

Глянул еще раз – и врос в землю, не в силах ни крикнуть, ни сделать шага.

Головы лежали на грядках, отрезанные человеческие головы. Все глаза были закрыты – кроме выбитых, выколотых, вытекших глаз; желтоватая дряблая кожа и темная, как старое дерево, кожа. Черные чубы и седые чубы. Расшитые золотом шапки. Турецкие малахаи. Головы в бородах, и головы, бритые налысо, и совсем черные, как уголь, головы. Здесь были казаки, турки, ляхи, паны и селяне, старые и молодые; так случилось, что Омелько в одну долгую секунду смертельного испуга успел увидеть их десятки – тех, что росли поближе. А поле тянулось и тянулось во все стороны, и там, в отдалении, тоже маячили головы, головы, головы...

Заверешав, будто его режут, Омелько пустился бежать. Споткнулся о голову и упал. Прямо перед ним оказалось старое, изрезанное морщинами, желтовато-коричневое лицо. Блеснула золотая серьга в огромном ухе. Длинный чуб-оселедец лежал на земле, как стебель растения, прибитый дождем. Мгновение – закрытые веки дрогнули, старый запорожец открыл глаза, поводил зрачками, и взгляд его остановился на Омельке.

* * *

Он не помнил, как выбрался на дорогу. Сорочка изорвана, штаны – грязные и мокрые насквозь. Поскуливая от ужаса, Омелько добрался до Студны и залез в реку с головой – прохладная чистая вода помогла собрать остатки сил и не расстаться с рассудком.

Он бормотал все молитвы, какие знал. Выстирал одежду; луна к тому времени поднялась высоко, и приходилось прятаться в тени кустов – чтобы кто-нибудь, идущий ночью по хозяйственной надобности, не заметил на берегу скрюченного голого мальчишку. Наконец кое-как успокоился и сказал себе, что все позади. Отделался, почитай, легко. Хлопцам, конечно, ни слова не скажет – упаси Боже, рассказывая, заново пережить такой ужас...

Да и не поверят хлопцы. Будут смеяться, как над Леськом.

Ночь стояла глухая, будто тетерев. Становилось прохладно. Омелько выкрутил одежду, натянул на себя и решил добираться до дома бегом – на бегу и согреешься, и рубаха со штанами высохнут...

Только он так подумал, как новая мысль пригвоздила его к месту. Эта мысль была страшнее многого, что он повидал сегодня ночью.

Картуз!

Картуз с треснувшим козырьком остался на баштане!

Когда Омелько, не помня себя, кинулся бежать – картуз слетел от ветра и остался лежать среди отрезанных голов. Значит, завтра утром панский сторож, обходя грядки, непременно его обнаружит...

А может, сам немец наступит надраенным до блеска сапогом. Поморщившись, нагнется, возьмет двумя пальцами, поднесет к глазам...

Омелько от страха даже пальцы закусил. У панских слуг и сторожей имелась одна особенность – они точно знали, кому из деревенских хлопцев принадлежит та или иная вещь. Этот самый картуз когда-то потерял Семен, спасаясь от собак в панском грушевом саду. А на другой день сторож был у отца во дворе, и картуз у него в руках, и отцу пришлось платить штраф, а Семен потом еще долго ходил враскорячку, спал на животе и ел стоя...

А уж немец, если с пеклом связан, сразу догадается, чей это картуз.

* * *

Ранним утром отец с братьями отправились возить снопы. Варька подоила и погнала пастись корову, мать взялась печь хлеб, а Оксанка – помогать в хате. Омелько вроде бы тоже подался на сноповоз, но по пути ухитрился улизнуть – благо отцу было не до него. Дорога после дождей раскисла, и возы то и дело попадали колесом в выбоину.

Глотая слезы, Омелько поспешил в балку к деду. Пес с отрубленным в щенячестве хвостом – Куций – встретил гостя сливающимся в очередь лаем, но через минуту, узнав, замолчал и вильнул обрубком.

Дед был дома. Сидел, как обычно, на колоде с ножиком в руках, что-то мастерил. Омельку встретил без обычной приветливости – как будто уже знал страшную тайну.

Сев перед дедом на корточки, Омелько, обливаясь слезами, рассказал все до нитки – и про арбузы, и про ночной баштан, и про головы на грядках. Дед слушал, попыхивая трубкой. Из трубки поднимались колечки – Омелько смотрел на них уже безо всякой надежды. Ведь если дед не поможет – не поможет никто, и похоронят незадачливого хлопца за оградой кладбища.

– Знал я, что этим кончится, – сказал дед неожиданно мягко. – Не зря баба Рудковская тебе пуп завязала на четырехлистном клевере, чтобы счастливый был. А о том не подумала глупая баба, что...

И замолчал, встопортив седые усы.

– Что? – жалобно спросил Омелько.

Дед вздохнул:

– Глупый ты, хлопец... Пустая голова.

– Деда! – взмолился Омелько. – Спаси! Если... если ты... да кто без тебя... Немец утащит меня в пекло, и...

– А таки утащит, – сурово согласился дед.

На это Омелько не нашелся, что сказать, и молча заплакал.

– Дурень ты, дурень, – печально продолжал дед. – Не будь ты мне родной внук...

Он тяжело поднялся и ушел в глубь куреня. Омелько сидел тихо-тихо; дед вернулся, неся в кулаке что-то, от чего свисал из горсти кожаный гайтан.

– Слушай, дурень, – сказал дед, снова усаживаясь напротив Омельки, и тот немного воспрянул, потому что в дедовом ворчании не было гнева. – Наденешь вот это на шею... И когда она придет за тобой на дохлой кобыле – за ней не ходи, а води кобылу за собой прямо до обрыва. Только не дай ей до себя дотронуться!

– Кто придет?!

– Молчи, не перебивай. Три ночи тебе дается. Сможешь продержаться – герой. Не сможешь... тут тебе, Омельку, никто не поможет.

– А ты, деда?!

– Я тебе уже помог, – отозвался дед сурово. – Тебе бы на том баштане навеки остаться, на грядке, сны видеть... А ты ушел. Потому что я подсобил.

Он раскрыл ладонь. На заскорузлой подстилке из вековых мозолей лежал колокольчик – обыкновенный колокольчик, как для скота, надетый на тонкую ленту кожи.

От деда пахло табаком и травами. И еще чем-то, отчего Омельке стало спокойнее.

– Деда... А что они там, спят?

Суровый взгляд, но Омелько уже не боялся.

– Деда...

– Спят. – Старческий рот под седыми усами властно изогнулся уголками книзу. – Спят... и снится им...

– Что?

Дед посмотрел на Омельку искоса.

– Страна им снится. Бои... Победы... И договоры, которые подписывают на свитках и скрепляют гетьманскими печатями. И слава им снится, громкая слава... И потомки снятся, – дед неопределенно махнул рукой за плечо, – которые напишут про их славу в школьных книгах с желтыми страницами. И никому из них никогда... – Дед замолчал, тяжело раздумывая. Сдвинул клочковатые брови, поскреб лысину. – Ступай. «Отче наш» перед сном читаешь?

– Читаю, деда, как не читать!

– Ну так иди. И помогай отцу, не отлынивай!

Омелько вылетел из куреня. Куцый проводил его радостным повизгиванием и звоном цепи.

* * *

Колокольчик Омелько спрятал под рубашку.

Вечером, когда мать позвала на ужин, ему встретился на улице Андрий. Тот рассказал не без восторга, что, оказывается, на баштане у немца нашли хлопчатый картуз с треснувшим козырьком и немец страшно гневался – обещал найти вора и спуска не дать.

– Говорят, так ругался, что в крайних хатах было слышно, – говорил Андрий, поправляя на голове свой собственный пыльный картуз.

Омелько с большим трудом притворился, что новость вызывает у него те же чувства, что и у Андрия: удивление и любопытство.

За ужином отец спросил, чего это Омелько такой тихий; тот сослался на усталость и, едва встав из-за стола, поспешил в комору, в сено. Устал он и в самом деле страшно: бессонная ночь давала о себе знать. Зарывшись с головой, он свернулся калачиком – и через секунду стоял в коричневато-сером мареве у ворот отцовской хаты.

Никого – ни человечка. Ни звука – даже собака не гавкнет. И к нему приближается, боком сидя в седле, старуха в черном платье с рваным подолом, с лицом желтым, как у мертвеца. А под старухой кобыла. Половина головы со шкурой и глазом, половина – череп. На шее шкура висит лохмотьями, грива повылезла, бока вздулись. Дохлая кобыла.

– А ну-ка, дитятко, – говорит старуха, – пошли со мной. Я тебя сладеньким угощу: арбузика хочешь?

Омелько от страха язык проглотил. Стоит, шатается. А старуха все ближе. Тянет руку.

– Пойдем со мной, хлопчик. Тут недалеко.

Омелько дернулся. Звякнул в руке колокольчик. Хлопец поднес руку к лицу...

Колокольчик висел на кожаной ленточке, позванивал тихо и как бы сам по себе. Динь-динь... Динь-динь...

Старуха отшатнулась. Кобыла отступила; старуха повела ладонью, будто приглашая за собой:

– Ай, какая цацка у тебя, малой... А все равно пойдем. Арбуз на столе, нарезан острым ножом, ни семечки не выпало... Идем со мной.

У Омельки помимо воли выступила слюна на губах. Сладкая, как арбузный сок. Нога шагнула без спросу, за ней другая...

Звякнул колокольчик.

Омелько встал и попятился. И, зажмурившись изо всех сил, велел ногам идти в другую сторону – от ворот вправо. Там всегда был дом дядьки Петра, а теперь, в коричнево-сером тумане, там пусто, тропинка – и вдалеке обрыв...

– Постой, дитятко... Постой, погоди...

Омелько шел, будто прорываясь сквозь густую паутину. Сзади слышалась тяжелая конская поступь. Иногда колокольчик замолкал, тогда хлопца разворачивало и тянуло назад, к старухе и ее кобыле. Он тряс колокольчиком, но тот немел от ужаса – лишь в последний момент, когда можно было разглядеть червей, копошащихся в пустой глазнице лошади, колокольчик выдавал «динь-динь», и Омелько получал новую короткую свободу.

Обрыв был далеко, когда прокричал петух и в своем сне Омелько услышал его голос.

Открыл глаза.

Занималось утро. Братья спали. Отец возился во дворе, мать доила корову. Дверь в хату широко распахнута; в двери стояла, сладко потягиваясь, неумытая Оксанка...

Омелько нащупал на груди колокольчик. И страх сделался меньше.

* * *

Днем по селу ходили слухи. Одни говорили, что немец занемог и вызвал из города врача. Другие – что немец здоровехонек, сегодня по баштану гулял, видели его. А Варька принесла от колодца новейшую новость: немец нашел на баштане чей-то картуз и успел обойти с ним несколько дворов – выпытывал, чей.

– А твой-то картуз где? – спросил брат Семен как бы между прочим.

– В коморе, – ответил Омелько, не моргнув и глазом. – Ты чего, думаешь, я к немцу на баштан полезу?! Семен расхохотался:

– Ну да! Там же черти... Хотя полез ведь кто-то, иначе откуда картузу взяться, а?

– Ты его видел, тот картуз? – спросил Омелько со всей возможной презрительностью. – Девки, может, и брешут!

Варька слегка обиделась.

Весь день Омелько искал момент, чтобы улизнуть опять в балку, к деду Мамаю, но, как на грех, его постоянно донимали поручениями. Сделай и то, и это, принеси и отнеси, почини, помой, сложи – Омелько вертелся как веретено, ни минутки не имея свободной. А еще помнил слова деда: помогай, не отлынивай. Может, и зачтется усердие? Звонче станет колокольчик?

За весь день колокольчик ни разу не звякнул. Домашние и не заметили, что такое у Омельки за пазухой.

Вечером он долго старался не заснуть. Пробормотал «Отче наш» раз сто примерно, еще столько же сказал про себя – и провалился в сон, не удержался. И сразу оказался в коричнево-сером тумане, у ворот отцовского дома.

А старуха на кобыле совсем рядом. Протянула руку – но Омелько чудом успел отскочить, вывернулся.

– Что ты бегаешь, дитяtko? Не хочешь арбузика? – загнусавила старуха. – Сразу со мной пойдешь – тебе же лучше, дурник. Сладенько будет...

Колокольчик в руке казался тяжелым, втрое, вчетверо тяжелее, чем вчера. Омелько повернулся и побрел, не оглядываясь, к обрыву. Дохлая кобыла не отставала. Ее всадница бормотала неведомую речь, слова догоняли и цепляли кожу на спине, точно тоненькими крючьями, тянули назад. От голоса старухи пропадала воля; колокольчик тянулся к земле, кожаная ленточка трещала, готовая порваться. Но самое страшное – колокольчик немел. От «динь-динь» сперва осталось «динь-динь», потом просто «динь... динь...», а потом колокольчик замолчал совсем, и Омельку потянуло назад на невидимых ниточках.

– Ах ты, мой хлопчик, – бормотала старуха. – Ну иди же. Иди со мной...

Он тряс колокольчиком, рискуя вытряхнуть руку из плеча. Колокольчик молчал; только когда старухина костлявая ладонь почти стиснулась на его плече, колокольчик издал хриплое звяканье, и старуха с проклятьями отшатнулась.

Омелько кинулся к обрыву. Земля на краю пошла трещинами, клочья травы нависали над пропастью, как дедовы брови. Воспоминание о деде придало силы, колокольчик снова зазвонил, и Омелько прибавил шаг. Может, это обрыв над Студной, успел он подумать. А может, над другой какой-то рекой...

Лошадиные копыта били в землю за спиной. Дохлая кобыла пустилась галопом. От ужаса Омелько чуть не выронил колокольчик, оглянулся – и увидел старухино лицо прямо над собой, седые космы почти касались его лба...

Закричал петух.

* * *

Днем разразилась гроза. Дождь лупил и лил, маленькая Оксанка смело бегала по лужам, а мать загоняла ее в дом. Страшные коленца выкидывала на небе молния, гром бил так, что хотелось заткнуть уши. Варька говорила с важным видом: видишь, прогневался Илья...

Омелько знал, на что он прогневался.

С утра немец успел обойти еще с десяток дворов, и в одном – Омелько знал точно – его картуз узнали. Это был дом родителей Леська; Омелько не знал, сумел ли Лесько сдержаться при виде немецовой находки. Лесько – хлопец хитрый и подловатый: с него стало бы проговориться будто невзначай, ненароком. Отплатить Омельке за насмешку...

Он сам не понимал, как дожил до вечера. Но вечер пришел, а немец так и не появился. Колокольчик за пазухой был горячий, словно уголь.

Не раз и не два он останавливался в воротах. Наяву все выглядело иначе: справа – сад, слева – улица, и в отдалении дом дядьки Петра. Нет никакой тропинки и никакого обрыва, и колокольчик в руке не звонил. Берег, видно, силы для последнего испытания.

...А если вовсе не спать?! Дед сказал – три ночи; а будет Омелько спать или нет – кому какое дело?

Не давала покоя еще одна мысль: а вдруг старуха успеет схватить его раньше, чем он вспомнит про колокольчик? Она ведь каждый раз все ближе подбирается... Едва Омелько заснет, а старуха его – хват! Как бы не пропустить ту секунду, когда явь переходит в сон? Когда из кучи сена в коморе он выпадает в коричнево-серый туман перед воротами отцовской хаты?

Отче наш, иже еси на небеси...

Сон навалился силком, не позволив закончить молитву.

* * *

– Стой, сладенький, не вертись... Ах, плохой хлопчик. Две ночи не слушался, на третью попался, будет тебе на орехи...

На самом деле Омелько еще не попался. Он стоял, прижимаясь спиной к закрытым воротам, а старуха верхом на кобыле загораживала пути к отступлению. Не пробиться к тропинке, не добраться до обрыва...

Колокольчик звонил хрипло и очень тихо.

Старуха протягивала руки; не могла дотянуться до Омельки – но и не отступала.

– Что же ты, малой, старших не слушаешь? Не помогло тебе твое счастье, видишь, не помогло... Брось свою цацку. Иди со мной, тепленький, иди со мной...

Омелько набрал воздуха – и кинулся вниз. Проскользнул между ногами дохлой кобылы.

– Ай, стой, шустрый какой! Не уйдешь!

Топот копыт за спиной. И колокольчик молчит – выдохся. Омелько чувствовал, что бежит на одном месте. Ноги месят воздух, взлетают комья серо-коричневой земли, а обрыв с ключьями травы над пропастью не становится ближе – наоборот, отдаляется...

Цап! – костлявые пальцы схватили за рубаху на спине.

«Отче наш!» – немо взмолился Омелько. Отвечая ему или сам по себе, колокольчик в руке вдруг ожил: «Динь-динь-динь!» Ветхая домотканая рубаха треснула. Омелько почувствовал, что свободен. Припустил во весь дух; наверное, никогда в жизни так не бегал...

Вот и обрыв. Только внизу не видно никакой реки – чернота. Трещины стали яснее, шире; Омелько упал на четвереньки.

Рядом переступали ноги дохлой кобылы. От них тянуло невыносимым смрадом.

– Ну, хлопчик, что теперь?

Старуха смотрела сверху вниз. В руках у нее откуда-то взялась витая плетка.

Колокольчик упал на траву. Язычок, медная капелька, бессильно вывалился.

– Что теперь, сладенький? Как тебе наши арбузы?

Омелько отползал, лихорадочно нащупывая ногами твердую почву за спиной, ежесекундно рискуя ухнуть вниз.

Старуха захохотала.

Черный платок сполз с ее головы, обнажая голый череп. Она вскинула к небу руки, в ответ налетел ветер, подхватил черное платье с изглоданным червями подолом...

Омелько нащупал в темной траве колокольчик – немой, безъязыкий.

И заверещав, как поросенок под ножом резника, бросил его чудовищу в лицо.

Затрещало, будто выворачивали из земли вековой дуб. Смех старухи перешел в вопль. Трещина над обрывом превратилась в щель, затем разошлась вовсе. Огромный пласт земли откололся и полетел вниз вместе со старухой и ее дохлой кобылой, и вместе с ними летел, светясь, будто в кузнечном горне, колокольчик.

Омелько остался на краю. Висел, вцепившись в траву, похожую на дедовы брови. Подтянулся, лег на обрыв животом...

Прокричал петух.

* * *

Немец стоял в воротах – рыжие усы, куцый сюртук, клетчатый кашкет. Панские штаны заправлены в блестящие сапоги; в руках – картуз с треснувшим козырьком.

Омелько смотрел из-за двери коморы, как отец разговаривает с немцем.

– Нет, – сказал немец неожиданно высоким трескучим голосом. – Штраф на этот раз никакого не требовать. Потрава невелик, и претензия моя невелик – чтобы в будущем, если можно, ваш сын не посягать на чужое добро.

Отец что-то сказал – Омелько не расслышал.

– В этих широтах нелегко выращивать бахчевая культура, – сказал немец. – Я понимаю ваше возмущение. Кроме того, вора в жизни ждать плети, тюрьма и Сибирь. Надо уважать чужой труд, да!

И немец ушел, оставив картуз отцу.

Отец стоял посреди двора, вертя картуз в руках. Затем, мрачнее тучи, повернулся к коморе.

Омелько вышел, втянув голову в плечи.

И когда ему велено было идти за хворостиной и он покорно пошел, заранее похныкивая и вытирая кулаком нос, хлопцу виделся большой зеленый арбуз, спрятанный в лопухах на берегу Студны.

Пусть отец выдерет – в первый раз, что ли?

Зато когда соберутся у костра хлопцы, когда он выкатит арбуз к костру и с хрустом всадит ему в бок дедов казацкий нож... Когда потечет по пальцам сок, запрыгают лаковые семечки... Когда сердцевина арбуза, зернистая и розовая, заполнит собой весь рот... И когда хлопцы будут смотреть, выпучив глаза, и недоверчиво расспрашивать про немца, а он в ответ на их вопросы будет только улыбаться... Ай!

И они все вместе сожрут арбуз, и останется только гора зеленых корок и приятная тяжесть в животе... Ай, ай!

И с тех пор он станет у хлопцев ватажком, заводилой... Ай-ай-ай!

И следующим летом, может быть, он еще раз дождется момента и выкатит с баштана не один арбуз... Ай! Два или три арбуза, и тогда...

Так или примерно так думал Омелько, лежа животом на отцовом колене, в то время как хворостина полосовала его зад, и без того, впрочем, давно полосатый.

Над балкой курился дымок. Не дед ли курил свою трубку?



Бои без правил

1

Максу всегда нравилось, как она дерется.

Разумеется, не с ним. Существо безобидное и возвышенное, Максик бледнел при виде опарапанного пальца и норовил хлопнуться в обморок. К дантисту Анка тащила его за шкуру, иначе Максик жрал тонны анальгина и трясся от дурных предчувствий. Бичом молодого человека было богатое воображение, все: и боль, и опасность – он переживал заранее, в сто крат усиленном виде, с подробностями. И когда наступала реальность во всей своей красе, Макс уже годился разве что на говяжью тушенку.

Анка – другое дело.

«Ввяжемся в драку, а там посмотрим!» – говаривал при случае Наполеон. Если бы Анке кто-то сказал, что она следует принципу великого полководца, девушка сильно удивилась бы. С биографией маленького корсиканца она была знакома исключительно по рецепту вкусного слоеного торта и стихам из школьной программы, которые училка заставляла зубрить наизусть: «В двенадцать часов по ночам из гроба встает император...» и «Напрасно ждал Наполеон...». Авторы этих стихотворений Анка честно путала.

Зато она изумительно дралась.

Анкин сэнсей по карате, человек, безусловно, сумасшедший – ибо только псих способен посвятить жизнь изучению оптимальных методов искалечить ближнего своего и вдобавок называть это варначество искусством, – нашел в ней родственную душу. Утомившись от нагрузок, милая, стройная – ну разве что излишне жилистая! – барышня могла за чаем с сухариками часами рассуждать о высоких материях. Например, сперва короткий кинжальный удар ногой в пах, а потом, когда оглушенный болью враг согнется, левой рукой схватить за волосы и рвануть на себя, встречая чужое лицо правым локтем. Или, скажем, перевести встречный удар нехорошего человека мимо и вскользь, как стрелочник переводит поезд на другие рельсы, и, не разрывая контакта, пройти ладонями к голове – одна ложится на подбородок, вторая берет затылок, и одновременно с проворотом, с хрустом...

Анкина мама так и не привыкла к подобным чаепитиям, сбегая на кухню.

В соревнованиях Анка не участвовала. Честолюбие или, хуже того, тщеславие не свило гнездо в ее душе. К медалям и титулам она тяги не имела, а к правилам, ограничивающим бойцов на татами, испытывала легкое пренебрежение. К себе Анка относилась равнодушно. Не самая приятная подробность, но в должной мере пикантная: часть зубов у юной леди уже была вставная. Насчет белесых тонких шрамов в области голеней и предплечий Максик шутил, что они украшают настоящего мужчину, и целовал каждый шрамик в отдельности. Ну, синяки не в счет. С кем не бывает?

А так, в целом – скромная, милая, во всех отношениях приятная девица. Даже, можно сказать, робкая: Максусу пришлось изрядно постараться, прежде чем Анка уступила ему цветок девичьей скромности.

По большой и чистой любви.

Жил Максик на окраине, в спальном районе, где кто только не спал. Анка часто провожала его домой, если приходилось возвращаться поздно. Очкастый, рыхловатый Макс с безобидным выражением лица просто притягивал к себе интересы скучающей шпаны. Спросить у такого сигаретку, чтобы сразу перейти к выяснению взглядов на жизнь, – дело святое. А уж если рядом с таким замечательным рохлей стучит каблучками клевая телка, так и вовсе кровь кипит в жилах.

Останавливали, значит.

И знакомились с Анкиными каблучками-кулачками.

Прихватить хама, лезущего со слюнявым поцелуем, за уши. Ладони сложены «обезьяньей горстью», это очень полезно для барабанных перепонки, если прихватывать с хлопком. Лбом, смешно набычившись, – в переносицу. И сразу не смешно. Совсем. Оттолкнуть так, чтобы снес с копыт пьяненького дружка. «Журавль топчет змею» – дружок катается по земле, держась за ушибленную гордость, куда угодил острый каблук со стальной набойкой. Подхватить с асфальта увесистую штaketину. И того гада, что еще держит Макса за грудки, не успев оценить изменение диспозиции, – сперва по коленям, наотмашь, крест-накрест, а потом поставить жирную точку на происшествии.

В данном случае точка ставилась по уху.

В остальных случаях – по-разному.

Удовольствия от драк она не получала. Скучная, рутинная обязанность – в следующий раз, когда уроды захотят прикопаться к парню с девушкой, они сто раз подумают. Иногда Анка полагала, что таким образом делает мир лучше. И даже хотела сказать об этом своему сэнсею, но стеснялась. Правильно делала в общем. Сэнсей мог и не согласиться.

Он был псих, но с принципами.

Постепенно в спальном районе их стали узнавать, и драки сошли на нет. Более полугода никто не трогал Макса, с Анкой же начали здороваться издалека. Жизнь вошла в мирную колею. Пока однажды Максик, слегка заведенный с самого утра проблемами в университете, не сказал громко и отчетливо:

– Ань, смотри! Копия Бумбараш!

Еще и пальцем ткнул для верности.

«Копия Бумбараш» меньше всего походил на актера Золотухина. Ну разве что цвет волос – солома соломой. В тельняшке и камуфляжных штанах, Бумбараш курил у подъезда, глядя перед собой стеклянными глазами. Реплика Максика, похоже, прошла мимо его сознания. Белобрысый отреагировал лишь тогда, когда Макс поравнялся с ним и дурашливо запел прямо в лицо:

– Ходят кони, да над реко-о-ою!..

Зря он недооценил стекло в глазницах Бумбараша. Стекло это, словно песня влетела в него камнем, вдруг пошло кровавыми трещинами. Без предупреждений, без признаков агрессии и ритуала разборки белобрысый отвесил Максику затрещину. Короткую и до ужаса деловитую. Анка не успела сообразить, складывал Бумбараш ладонь «обезьяньей горстью» или, допустим, просто напряг «ивовым листом», но эффект случился поразительным. У ее ног корчился любимый парень, держась за голову и визжа на высокой, пронзительной ноте.

Казалось, визг длился целую вечность.

...короткий кинжальный удар ногой в пах, а потом, когда оглушенный болью враг согнется, левой рукой схватить за волосы и рвануть на себя...

Враг не согнулся.

Носок Анкиной кроссовки – сегодня она была в кроссовках – пришелся в подставленное бедро и соскользнул. Бумбараш шагнул вплотную, просто и страшно, стекло его глаз рассыпалось острыми осколками безумия, и один из осколков вонзился Анке под сердце. Визг Максика оборвался, словно рассеченный бритвой. Она еще не знала – почему.

Она уже больше ничего не знала.

2

Ночь. Снег.

Зима.

Очнулась Анка сразу, рывком. Словно бронзовокожий атлет-спасатель, с каким она познакомилась два года назад в Судакe, профессионально ухватил ее за волосы и выдернул из безвидного омута небытия. В ушах скулила память, оборванная вместе с визгом Макса.

Дальше – провал.

Она огляделась. Поземка с легким шелестом бродила меж оград, ласково облизывая могильные холмики. Пыталась взвиться до крестов над плитами, до вершин памятных стел и без сил опадала, выдохшись. В голых ветвях монотонно, на одной ноте – знакомая нота рождала панику, – выл ветер. Кажется, вдалеке по дорожкам между секторами ходили какие-то люди, но сейчас они Анку не интересовали.

Ночь. Снег. Зима.

Кладбище.

Почему – зима? Ведь на дворе май, зеленый и душистый... На Анке оказались светлые джинсы, туфли-лодочки, белая блузка с кружевами и поверх нее – легкая кофточка. Однако холодно не было. Жарко или прохладно тоже не было.

Было – никак.

Только теперь она обратила внимание, что сидит на мраморном надгробии внутри ограды в две трети человеческого роста. Прутья ограды украшали злобного вида наконечники на манер копий. Чтоб не лазили? Куда? Откуда?! Нельзя сидеть зимой на голом камне, можно простудиться и подхватить воспаление почек...

Дурацкие мысли отвлекали от главного. От того, что следовало сделать вопреки желанию превратиться в сугроб, в бессмысленного снеговика.

Собравшись с духом, она встала. Заранее понимая, что увидит, вгляделась в буквы, выбитые на мраморе: «Стратичук Анна Анатольевна, 20.09.1976 – 17.05.1998». И отретушированная фотография, на которой Анка с трудом узнала себя.

Надгробная плита до середины выросла в обледенелую землю. Могила выглядела целехонькой. Ее однозначно никто не раскапывал. Плиту тоже не сдвигали и не выкорчевывали.

«Уже легче. По крайней мере, я не выбиралась оттуда, срывая ногти...»

– Вынужден вас разочаровать, барышня. Выбились. И именно оттуда.

Дорогое кашемировое пальто. Клетчатое кашне выбивается наружу. Черные брюки, стрелки заглажены до бритвенной остроты. Зеркальный блеск ботинок на толстой подошве. Мягкая шляпа отбрасывает тень на лицо, так что черт не разобрать. Высокий, статный; чувствуется порода. Руки – в карманах пальто. Как незнакомец ухитрился незаметно подкрасться к ней, Анка не знала. Снегу кругом намело, должна была услышать скрип.

А вот – не слышала.

– И не спрашивайте, каким образом. Это вас волновать не должно. А волновать вас, милая барышня, должно совсем другое.

Незнакомец выдержал паузу, ожидая встречного вопроса. Легко догадаться, какого именно. Анка выкаблучиваться не стала, пойдя щеголю навстречу:

– И что же именно меня должно волновать?

– Вечные проблемы, милочка. Вечные, как мир. Факт вашей смерти. И возможность вернуться к жизни. Уникальная, заметьте, возможность. За такую многие душу рады бы продать.

– А сейчас я, по-вашему, что, не живая?

Незнакомец весело расхохотался.

– Нет, барышня. Не живая. Никак не живая. Уж поверьте, я в этом толк знаю.

Анка прислушалась к себе, но никакого волнения не ощутила. Так же, впрочем, как и биения собственного сердца. На всякий случай приложила руку к груди. Ожидание тянулось целую вечность. Нет. Сердце не билось. Дышать, кстати, тоже не хотелось.

Она и не дышала.

– Убедились? Я всегда говорю правду. Чистую, как слеза младенца.

«Будь я жива, наверное, рассмеялась бы ему в лицо. А так...»

Жажда вновь оказаться живой вскипела беснующимся гейзером. На миг даже почудилось: вот-вот вновь забьется сердце.

– Что я должна сделать?

– Пустяк, в сущности. То, что вы делать умеете и, можно сказать, любите. Любили, – со значением поправился незнакомец. – Вам предлагается принять участие в боях без правил. Победа – жизнь. Согласитесь, приз заманчивой...

– Сколько участников?

Вопрос прозвучал сухо и деловито. Слишком сухо и деловито для восставшей из могилы покойницы. Анка отметила, что в посмертии у нее образовалось специфическое чувство юмора. Черное, как брюки доброжелателя в шляпе. Ледяное, как ветер над кладбищем. Оборжаться, как сказал бы Максик.

– Вместе с вами – двадцать шесть. В основном любители. Четверо профессионалов. – Он подумал и поправился: – Трое. Один так, не разбери что.

– У меня есть выбор?

Вместо ответа незнакомец указал на плиту. Дескать, есть.

– Хорошо, я согласна. Но хоть какие-то правила в этих боях все же имеются?

– Идемте. Я расскажу по дороге.

3

«Ринг» напоминал разверстую могилу для великана. Прямоугольная яма шесть на десять метров глубиной в полтора человеческих роста. Отвалы рыхлой, но уже смерзающейся земли по краям. Темный провал отчетливо выделялся на свежем искрящемся снегу. Геометрически правильная, чудовищная прореха во вселенском саване. И там, внизу, дрались двое.

Первый, отборочный тур.

«На время боя жизнь вернется. Дыхание. Сердце. Боль. Это тебе не фильмы про зомби...»

Двое дрались остервенело, но бестолково. Им очень хотелось жить. Не только сейчас, в огромной могиле, молотя друг друга из последних сил. Просто – жить. Дальше, больше, снова; сегодня, завтра, через месяц... И шансов не было ни у одного. Даже у того, который сейчас победит.

Над рингом, собравшись на земляных отвалах, получали удовольствие господа – устроители турнира. Все, как присоединившийся к компании Анкин провожатый, – кашемир длинных пальто, фетр мягких шляп, затеняющих лица, стрелки на черных брюках. Хозяева жизни отличались разве что ростом.

Здесь это не было фигурой речи.

Действительно хозяева жизни. И смерти.

Господа-устроители делали ставки. С лентой, вальяжно. Вполголоса переговаривались – слов не разобрать. Наверняка улыбались, саркастически или с приязнью, хоть улыбок и не разглядишь. Главным среди них, похоже, числился тот, что курил толстую сигарку. Пепел он время от времени стряхивал вниз, на «ринг», – хорошо хоть, не на головы дерущимся.

Один из бойцов ухитрился все-таки свалить противника. Но и сам при этом не удержался на ногах: упал сверху, принялся месить кулаками – наугад, куда попало. Нижний сперва закры-

вался, потом вдруг, словно опомнившись, перестал сопротивляться. Прижал руки к разбитому лицу и заплакал.

В воздухе повис удар колокола.

Отзвук долго гулял по кладбищу, будто заблудшая душа в надежде на успокоение.

В яму спустили лестницу. Победитель выбрался сам. На лице человека замерзла радость – нелепая, испуганная, заискивающая. Он до сих пор не верил, что победил. Миг, другой, и боец скис, сгорбился; радость осыпалась с его лица чешуйками старой краски.

«У телевизора выдернули шнур из розетки, – от такого сравнения стало тоскливо, хотя и раньше Анка не испытывала особого воодушевления. – Еще заметно остаточное свечение экрана, но это ненадолго...»

Побежденного выволокли под руки. Он рыдал и не хотел покидать могилу.

– Следующие!

Из рядов зрителей, молча толпившихся вокруг ямы, вышла новая пара. Анка сразу увидела: победит крепыш в белой рубашке. Видно по тому, как идет к «рингу», как спрыгивает в курящуюся паром могилу. Его противник, долговязый мужчина в костюме-тройке, двигался скованно, все время оглядываясь на кресты за спиной. Даже пиджак снять не догадался, тюфяк.

Не жить тебе, длинный.

Еще десятка два мертвецов, равнодушных к боям, бродили в отдалении, среди надгробий. «Страшный суд? – вдруг сообразила Анка. – Покойники восстали? А эти, в шляпах, развлекаются...»

Из-под шляпы незнакомца-проводного раздался короткий смешок.

– Сказки, Аня. Наивные сказки, придуманные людьми с богатой фантазией. Не верьте подобным глупостям. Мы здесь локально, так сказать. Не афишируя, сугубо для своих. Раз в четыре года, в Касьянову ночь. С двадцать девятого февраля на первое марта...

«Високосный год. Значит, сейчас... двухтысячный?! Почти два года минуло...»

Крепыш свалил долговязого даже быстрее, чем рассчитывала Анка. Шагнул вплотную – быстрая серия в корпус, и когда противник скорчился, хватаясь за живот, жажнул наотмашь в висок. Анка сперва решила, что крепыш – боксер, но, увидя последний удар, передумала. Если и боксер, то с приличным опытом дисквалификаций за нарушение правил.

Серьезный товарищ. Реальный кандидат на вторую жизнь.

Колокол.

– Твоя очередь, моя дорогая валькирия. Давай!

«Он на меня поставил!» – догадалась Анка. Волнения не было. Страх не было. Ничего не было. Она должна победить. Столько раз, сколько потребуется.

Все. Точка.

Рядом с ней на отвал вскарабкался бритоголовый качок, голый по пояс. Бычьей шее украшала толстенная цепь из золота. Глумливо скалясь, качок показал Анке «фак». Мол, сейчас поимею! По-всякому. Валяй, телка, перепихнемся...

И первым спрыгнул в яму, кичась мускулатурой.

Аплодисментов он не дождался. Без раздумий, не тратя времени на дурацкие ритуалы, Анка кинулась с насыпи прямо на качка. Колено угодило в лицо, раздался хруст. Бритый дурак опрокинулся на спину, пытаясь сжать подлую девку в мощных объятиях. Не сопротивляясь захвату, сидя на поверженном бойце верхом, Анка наклонилась вперед и трижды ударила основанием ладони в уже сломанную переносицу.

Слезла с качка и махнула рукой устроителям.

Давайте, мол, лестницу.

Громыхнул запоздалый колокол. К спущенной лестнице Анка шла долго, растягивая каждый шаг. Так умирающий от жажды смакует каждую каплю воды из фляги. Она была живая! Сердце отчаянно колотилось в груди. Кровь прилила к разгоряченным щекам, из ноздрей

вырывались облачка пара. Мороз колот тело тысячами хрустальных иголок. Анка была рада февральской стуже. Она знала: стоит ей выкарабкаться из ямы...

Шершавое старое дерево под пальцами.

Перекладина лестницы.

Кто-то протянул руку, помогая выбраться. Жизнь стремительно гасла, кровь отхлынула от щек. Растаяло ощущение холода. Остановилось сердце...

– Спасибо.

Она подняла взгляд. Последние остатки жизни взметнулись отчаянным, оглушительным ударом сердца. Перед ней стоял Бумбараш.

В знакомом камуфляже и тельняшке.

4

– Ты?!

Белобрысый молча пожал плечами. Развернулся и, сутулясь, побрел прочь.

Смятение гасло в душе, затихая. Анка зачем-то оглянулась на устроителей. Хозяева жизни делали очередные ставки. Только деньги здесь были не в ходу. На миг ей удалось увидеть то, что раньше ускользало от взгляда. Зыбкие тени переходили из рук в руки, с еле слышным стоном уменьшаясь, съеживаясь, исчезая в карманах господ-устроителей.

– Молодчина. Поздравляю. Но не советую радоваться прежде времени.

Анка опять не заметила, как ее покровитель оказался рядом.

– Этот... – Она указала в спину уходящего Бумбараша. – Откуда он здесь?

– Оттуда. Самоубийца. Надоело, значит, небо коптить.

– Он тоже участвует?

– Вряд ли. С тех, кто на себя руки наложил, спрос особый. Впрочем, если очень захочет... Только сперва ему надо будет пройти Вышибалу. Ну, сами увидите.

Незнакомец-проводящий поспешно кивнул и отошел в сторону, где его ждал такой же, как он, кашемировый. Анкин покровитель нетерпеливо протянул руку, его почти близнец поморщился, провел ладонью по воздуху. Две тени, околавивавшиеся поблизости, дернулись, теряя размер и превращаясь в серые клочья тумана...

Проводящий с удовлетворением огладил карман пальто.

Следующий бой Анка решила не смотреть. И тот, что за ним, тоже. Понадобится – позовут, а ей следовало прийти в себя. Затертые слова внезапно приобрели совершенно реальный смысл. «Прийти в себя» – безвидная, бесформенная тень скользит мимо черных оград, торопясь к вросшему в ледяную землю надгробию с отретушированной фотографией... От таких мыслей стало совсем худо, но это было легче, чем думать о ледяном огне в глазах Бумбараша. «Ходят кони, да над реко-о-ою!..» Нет, нет, нельзя, не сейчас!

Она сама не заметила, как оказалась на соседней аллее. Не в одиночестве – компания неприкаянных душ безмолвно топталась по свежему снегу. Анка подумала, что завтра поутру сторож кладбища весьма удивится, увидев следы ее «лодочек»...

Рядом кто-то завыл.

Она поспешила отойти к ближайшей оградке и лишь после этого оглянулась. Ну конечно! Тюфяк! Долговязый неумеха в костюме-тройке!

«Тюфяк» был истово, хотя и вполголоса. Анка невольно поморщилась. Да, не жить тебе, длинный! И драться не обучен, и умирать не умеешь. Таким, как ты, только и осталось – выть. Вой усилился, делаясь громче. Анка решила, что пора уходить – наслушалась! – но внезапно замерла. Что-то в этом вое было не так. Издалека – вроде и впрямь голодный пес голосит. А если вслушаться...

Двадцать девять дней бывает в феврале,
В день последний спят Касьяны на земле,
В этот день для них зеленое вино
Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно...

Анка не выдержала – моргнула. Оказывается, и так петь можно. Впрочем, у бедняги Макса вокальные данные тоже не очень. «Ходят кони, да над реко-о-ою!..» Нет, нет, не вспоминать!

Гости старые приказные,
Отставные, безобразные,
Забубенные алтынники,
Все Касьяны-именинники!

Слова оказались под стать вою. Сама не зная зачем, Анка невольно шагнула вперед. Может, узнать, кто такие загадочные «алтынники»?

Долговязый заметил. Подмигнул.

И тут дернул черт Касьяна-мужика:
«Эх, послушай, ты, приказная строка,
У меня звенят за пазухой гроши,
Награжу тебя – пляши, пляши, пляши!»

«Спятил!» – резонно рассудила она. «Тюфяк», словно торопясь подтвердить это, усмехнулся самым довольным образом. Впрочем, улыбка сразу погасла – вместе с воем.

– Еще первый тур? А ты, значит, своего завалила?

– Первый, – не думая, кивнула Анка. – Завалила.

Взгляд долговязого внезапно стал иным: холодным и острым, как осколок льда. Не к месту вновь вспомнился проклятый Бумбараш.

– А что? – дернулись бесцветные тонкие губы. – Пожалуй, подойдешь.

– Куда? – совсем растерялась она.

«Тюфяк» вновь ухмыльнулся:

– А сюда! Когда во втором туре победишь.

Он поправил сбившийся на сторону черный галстук, опять подмигнул.

Звал «строкой» противно званию,
Подлежит сие к поданию!

Психов Анка опасалась и поспешила ретироваться.

Из-за спины донеслось:

– Это бои без правил, Анна Анатольевна. Вас обманывают – из смерти не возвращаются. У здешних боссов просто нет такой власти. Не надейтесь! Между прочим, с тем, кого вы называете Бумбарашем, сведут именно вас. Так и задумано. Ставки пока три к одному в его пользу.

На ногах она все же устояла. А вот обернуться не решилась.

5

На сей раз руку ей подал сам благодетель. Не побрезговал; напротив, расплылся в улыбке, даже ногой шаркнул.

– Не ошибся я в вас, барышня! Лихо вы его, лихо!..

Анка дернула плечами, с тоской ощущая, как гаснет последний удар ненадолго ожившего сердца. Бой как бой, ничего особенного.

– Еще две схватки – и финал. Продержитесь, надеюсь?

Отвечать она не стала.

Вторым ее противником был верзила сам себя шире, но справиться с ним оказалось много легче, чем с хамоватым качком, обладателем золотой цепи. Качок, по крайней мере, что-то умел, верзила же был просто силен до невероятности, потому и во второй тур прошел. Но против Анкиной одержимости сила – вульгарная сила, подкрепленная лишь горой плоти, – помочь не могла. Тем более что верзила до ужаса, до полного ступора воли боялся вида крови – не чужой, своей. Едва Анка это поняла, все прочее осталось делом техники...

Колокол!

Она поглядела на ринг-могилу, куда спускалась очередная пара. Подумала, обернулась к благодетелю-покровителю.

– Самоубийца... Вы сказали...

– Сказал, сказал! – охотно подтвердил тот. – Самоубийство, Анна Анатольевна, – смертный грех, посему данный господин... Вы его, кажется, Бумбарашем именуете? Так вот, ему придется драться с Вышибалой. Как правило, это победитель нашего междусобойчика. Если господину Бумбарашу повезет, через четыре года пригласим его на общих основаниях. А что? Мечтаете о должности Вышибалы? Я не против.

Анка кивнула. Ставки три к одному. Ясно!

Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян!

Ты сегодня именинник, значит – пьян...

Знакомый вой она услышала сразу. Дурацкая песня про Касьяна-именинника никак не хотела заканчиваться.

– Кто вы?

Похоже, «тюфяк» решил в очередной раз подмигнуть, но раздумал. Знакомый взгляд – ледяной, острый.

– В таких случаях обычно говорят: вопросы здесь задаю я. Впрочем, вам отвечу: контролер – как в автобусе. Интересная должность! Смешиваешься с толпой, вежливо уступаешь место бабушке, вместе со всеми ругаешь водителя, вовремя не увидевшего выбоину в асфальте. А потом – хлоп! Предъявите, граждане!..

Анке стало противно.

– Не брали билет? – саркастически изломил бровь любитель песни про Касьяна. – Нехорошо нарушать, Анна Анатольевна! Бои, конечно, без правил, но Закон еще никто не отменял.

Хотелось развернуться и уйти. Только куда – к черной яме, к серым теням?

– Значит, меня обманывают? Всех обманывают?

– Заинтересовались? – Бесцветные губы вновь дернулись в усмешке. – Конечно, обманывают. Касьянова ночь! Не знаете это предание? Бедняга Святой, как известно, оказался слаб – вот и образовалось окошко для Велиара и его беспредельщиков...

«Главный. Тот, что с сигаркой, – поняла Анка. – Какое странное имя – Велиар!»

– Вам что обещали? «Победа – жизнь»?

Анка принялась лихорадочно вспоминать. Странно, со времени первого разговора у могилы прошло не больше часа, а кажется – целый год. Или вечность.

– Еще вам сказали: «Я всегда говорю правду. Чистую, как слеза младенца...»

Последнюю фразу «тюфяк»-контролер произнес не своим – чужим голосом. Точь-в-точь как Анкин благодетель.

– Я мог бы вам рассказать... Нет, лучше покажу.

Рука долговязого внезапно оказалась у самых ее глаз. Отшатнуться Анка не успела.

...Как не успела сообразить, складывал Бумбараши ладонь «обезьяньей горстью» или, допустим, просто напярк «ивовым листом», но эффект случился поразительным. У ее ног корчился любимый парень, держа за голову и визжа на высокой, пронзительной ноте.

Носок Анкиной кроссовки – сегодня она была в кроссовках – пришелся в подставленное бедро и соскользнул. Бумбараши шагнул вплотную, просто и страшно, стекло его глаз рассыпалось острыми осколками безумия...

Очнувшись она на асфальте. Поблизости заливался взбесившимся соловьем милицейский свисток. Анка застонала, приподняла голову.

Жива?

– Жива девка! – подтвердил чей-то решительный голос. – А вот парень... Сержант, «Скорою», быстро!

Макс!!!

Анка выплюнула соленый сгусток, мешавший дышать, попыталась опереться на локоть, привстать.

– Лежите, девушка! – вмешался голос. – И так нагеройствовались! Нашли с кем связываться! Мы этого маньяка две недели ловим. Звать на помощь надо было, патруль за углом стоял...

Она не слушала. Не понимала. Макс! Что с Максом?!

Секунды потерянной мелочью катились по мостовой.

– ...Так все и будет. – Ладонь контролера отдернулась и слегка дрогнула, словно стряхивая видение. – «Победа – жизнь». На целых десять минут. Лгать здесь не принято, поэтому строго формально вас не обманут. Анна Анатольевна, ведь срок дареной жизни, если помните, не оговаривался? Вот и получите... мзду. А через четыре года вновь помянут. Пообещают, скажем, час. Или целых два.

– Что с Максом? – повторила она вслух, даже не пытаясь сообразить, о чем речь. – Что с Максом, ты!..

– Вопросы здесь задаю я. – Долговязый поморщился, как от зубной боли. – А вы цените, Анна Анатольевна! Я бы и без вас обошелся, но после некоторых событий здешние устроители стали излишне внимательными. Пришлось тихонько отойти в сторону... Обещать ничего не буду, но встречу с начальством гарантирую. Вот там вам и ответят. Может быть. Держите!

На его ладони оказался милицейский свисток.

– Патруль за углом, Анна Анатольевна. И учтите, Бумбараша вам не сделать. Бывший наемник, наркоман, после очередной дозы полоснул себя бритвой по горлу... Сами понимаете: подготовка, боевой опыт. Не вам чета! К тому же вас ему показали и все как следует объяснили. Он ведь, собственно, из-за вас за бритву взялся, когда милиция в дверь ломилась...

Она хотела переспросить, узнать у наглого притворялы, что с ее Максимом, но контролер отвернулся. Щелчок зажигалки ударил, будто выстрел.

«Значит, и мертвые курят? Нет, он не мертвый, он такой же, как те, в кашемире!...»

Двадцать девять дней бывает в феврале.

В день последний спят Касьяны на земле...

«Тюфяк» был доволен. С собой, кладбищем, ею, Анкой. Доволен – и воет, сволочь! Но если здесь не лгут и она поговорит с таинственным «начальством»...

Свисток Анка сунула в карман джинсов.

6

– А если я его убью?

– В смысле – победите? – не понял благодетель. – Кого? Вашего Бумбараша? В таком случае, милочка, на подобные соревнования его больше никогда...

– Не победу, – стиснув зубы, перебила Анка, плохо соображая, что говорит. – Убью.

«Ее Бумбараш» стоял метрах в восьми, у края ямы-ринга. Судя по крикам, там, внизу, заканчивался очередной поединок.

Белобрысый наблюдал – очень внимательно.

– Плохо, барышня, плохо! – вполне по-человечески вздохнул благодетель-проводжатый. – Эмоции, эмоции... Бумбараш (ну и кличку вы придумали!) этим в отличие от вас не страдает. Для него противник – мясо. Которое надо разделить.

Она кивнула – верно. Теперь ее убийца выглядел совсем иначе, чем тогда, у лестницы. Расправились плечи, выпрямилась спина. Упругой и резкой стала походка. Почему – ясно. Мерзавец уверен в победе. Он узнал ее, вспомнил. И теперь не боится. Ни ее, ни остальных.

– Если на таких соревнованиях кого-то убивают, ему больше не выбраться из-под земли. Во всех смыслах. Но это – если. Между прочим, ставки на Вышибалу по-прежнему три к одному. Но я надеюсь на вас. Не подведите!

Отвечать Анка раздумала.

Третий и четвертый туры прошли очень быстро, без осложнений. «В основном любители», как выразился кашемировый, дрались не лучше обычной уличной шпаны. А вот обещанные профессионалы, даже если считать таковым бритоголового качка из первого тура, сошли с дистанции один за другим. Разве что в третьем туре вышла заминка, когда памятный крепыш в белой рубашке долго не мог завалить угрюмого небритого детину в рваном ватнике. Оба явно видали виды, и зрители – хозяева жизни-смерти – поспешили взвинтить ставки. Крепыш победил, но и сам не устоял на ногах. Точнее, на ноге – правую детина ему сломал. Анка успела выяснить: травмы, полученные на ринге, исчезали – вместе с жизнью, – едва боец выбирался из ямы. Но драться калекам было уже нельзя.

Финал намечался скучный.

В противниках Анки оказался лысый толстяк лет сорока с безумными бычьими глазами. Все его бои она пропустила и теперь могла лишь догадываться, как тот сумел победить. Наверное, удача – попались еще большие неумехи. Перед схваткой тип с сигаркой – Велиар, если верить всезнающему «тюфяку» – подошел к обоим бойцам. Ничего не сказал, но посмотрел очень внимательно.

И вновь шершавое, старое дерево под пальцами.

Перекладина лестницы.

Анка не волновалась. Противник представлялся ей пустым местом, сквозь которое надо бить, целясь в настоящего врага. Так прошибают кулаком дюймовые доски.

Не волновалась – и чуть не погибла. Во второй, стало быть, раз.

Толстяк решил не ждать. Скатившись с насыпи, он бросился прямо на Анку, и слишком поздно она заметила в его руке длинную острую спицу.

Бои без правил.

Чудом успела уклониться – спасли многолетние тренировки, когда на опасность начинаешь реагировать, не думая. Сэнсей называл это «хара-гэй» – «глаз в животе». Спица скользнула по рукаву кружевной блузки, оставив на предплечье длинную царапину. Толстяк не удержался на ногах, упал, ткнувшись ладонями в черную мерзлую землю...

Остальное было легче легкого. Убивать его Анка раздумала, просто сломала все пальцы – на обеих руках.

Чтобы помнил. Вечно.

На сей раз ей даже аплодировали. Не очень громко, правда.

7

Зрителей стало больше. К кашемировым, дружно обступившим яму, присоединился какой-то непонятный люд – не иначе с соседних аллей, из-под крестов и надгробий. Похоже, святой Касьян и вправду слегка подзабыл службу.

Долговязого контролера нигде не было, но Анке все время чудилось: он близко. В ушах ржавым гвоздем застряла нелепая песня про Касьяновы именины.

Гости старые приказные,
Отставные, безобразные...

А еще она слышала крик Макса. Словно ее парень был по-прежнему рядом.

– Поздравлять с победой обожду. Не подведите, Анна Анатольевна! Иначе вам придется очень пожалеть. Ясно?

Проводник-благодетель назвал ее по отчеству – не «барышней» и тем более не «милочкой», что само по себе что-то значило. Не стала спорить, кивнула.

– Вашему Бумбарашу терять нечего, учтите. Он – вне Закона. Кстати, если вы проиграете, то скорее всего умрете. Вторично – и окончательно.

И вновь Анка дернула подбородком. Ясно объяснил, куда уж ясней.

У ямы-ринга ее встретили аплодисменты, много гуще, чем предыдущие. Не одну Анку привечали – Бумбараш стоял на противоположном краю. Отвернуться Анка не успела – стеклянные глаза безошибочно нащупали цель. Внезапно проснулось сердце, ударило височной болью.

Не победить. Не выжить.

Боя не будет. Ни «журавля» со «змеей», ни кинжального в пах, ни «ивовых листьев», ни яростной уличной драки без красивых названий. Белобрысый шагнет вперед – просто и страшно, – чтобы убить одним ударом несостоявшегося Вышибалу, худую девку со вставными зубами. Он уже убивал ее.

Ничего сложного!

Она умрет. Сейчас – и навсегда. Не узнает, что случилось с Максом, не увидит цветущих майских каштанов. Собственного надгробия и то больше не увидит. А ведь патруль стоял за углом!.. «Двадцать девять дней бывает в феврале, в день последний спят Касьяны на земле...» Реквием по Анне Стратичук.

Колокол!

Только бы успеть прыгнуть первой!..

8

– Нарушение! Нарушение Закона!

Треель свистка до сих пор висела в ледяном недвижимом воздухе. Сам свисток был намертво зажат в ладони.

– Нарушение! Самоубийце обещали жизнь! Сюда, скорее! Нарушение!..

Так Анка никогда еще не кричала. Да где там кричала – орала, вопила, визжала, словно резаная. Бедняга Максик, вот бы у кого тебе поучиться!

– Нарушение!!!

Наверху отреагировали мгновенно. Крик, еще крик – и резкая ответная трель. Услыхали! Но не это главное. Бумбараш! Он ведь тоже слышит!

– Всем оставаться на месте! – проревел над оградами мегафон. – Стреляем без предупреждения! Повторяю: всем оставаться...

Слышит!

Стекло треснуло. Не получилось твердого шага – и никакого не получилось. Белобрысый замер, согнулся, как от удара. Знакомо поникли плечи под полосатым тельником.

– Незаконный поединок прекратить! – подтвердил неумолимый мегафон. – Выходить с поднятыми руками!

Бумбараш покорно шагнул к лестнице, поднимая вверх руки, не думая, насколько нелеп этот приказ. На миг Анка представила, как белокурый гад пытается карабкаться по ступенькам с вытянутыми руками. Улыбнулась по-волчьи...

Бои без правил!

Прыгнула.

...Первый удар – ребром ладони в основание черепа.

И рывок на себя, прогибая обмякшее тело так, чтобы хребтом – об колено.

Контрольного добивания не понадобилось.

– Я победила! – Анка смотрела наверх, надеясь, что там ее слышат. – Я победила, победила, победила!..

9

– Начальство ждет! – «Тюфяк» кивнул в сторону огромной черной машины, нелепо смотревшейся между могильных оградок. – Мой вам совет: соглашайтесь сразу. На все, что бы ни предложили.

Анка кивнула, сдерживая вспотевшей ладошкой отчаянно бившееся сердце. Живое сердце. Холодно не было – на ее плечах каким-то образом оказалось широкое кашемировое пальто.

– Сейчас, минутку...

Дверца открылась. Тот, кого называли Велиаром, неторопливо выбрался на снег. Раскрыл портсигар, долго щелкал зажигалкой.

– Кажется, договорились, – констатировал контролер не без интереса. – Тем лучше для вас, Анна Анатольевна.

Анка не стала спрашивать почему. Неважно. Потом, все потом!

Ладонь стиснула ледяную ручку дверцы...

– ...*Нельзя туда! Нельзя!* – Решительный голос прозвучал над самым ухом. – *Сейчас вы ему ничем не поможете.*

Пальцы, сжимающие ручку дверцы, разжались. «Скорая» рыкнула, тронулась с места.

– Инфаркт, – горестно вздохнули рядом. – А ведь такой молодой!

«Макс!» – беззвучно прошептала она, не в силах двинуться с места.

– Через час вы позвоните в больницу, в реанимационное отделение. – Решительный голос стал тише, в нем мелькнуло что-то отдаленно напоминающее сочувствие. – Вам скажут перезвонить позже, но вы не успеете. Его мать сама свяжется с вами...

Анка глубоко вдохнула теплый майский воздух.

Майский воздух февральского кладбища.

– На тренерскую работу пойдете?

Она пыталась представить лицо Макса. Но перед глазами плавало пятно – черное, как Касьянова ночь.

– Даровать вам вторую жизнь мы не имеем права. – Голос теперь звенел сталью. – Закон есть Закон, Анна Анатольевна! Но отпуск – почему бы и нет? На целых четыре года – до 29 февраля 2004-го. С последующим продлением, если договоримся... Между прочим, вашего друга мы охотно включим в команду. Каждый день сможете видеться на тренировках. Э-э-э... Точнее, каждую ночь.

– Макс, – повторила она вслух. – Максик...

10

– Ставки два к одному. – Велиар усмехнулся, протянул портсигар. – В нашу пользу, в нашу пользу, Анна Анатольевна! Прошу!

– Курить вредно! Даже для нас с вами, – отрезала Анка и поспешила уточнить: – Для нежити.

Стоявший рядом «тюфяк»-контролер хмыкнул. Она поняла: два к одному было час назад, но теперь, когда обе команды выстроились возле знакомой ямы... Четыре года работы – не шутка. Сразу ясно, достаточно лишь поглядеть на ее бойцов. Конечно, Велиар тоже не терял время попусту, но...

Увидим! И скоро.

На этот раз бои без правил проводились строго по правилам. Две команды, судья, даже медбригада. Анка до сих пор недоумевала, какими пряниками Велиар сумел заманить сюда знаменитого хирурга Величко по прозвищу Добрый Доктор, специалиста по реанимации оборотней. Помощником Величко, кстати, назначили бритого качка с цепью. Три курса медицинского, кто бы мог подумать!

– Первая пара!

Макс неуверенно оглянулся, и Анка постаралась вложить в улыбку все, что нельзя высказать словами. Она гордилась своим Максиком – таким, каким он стал за эти четыре года. Победить будет трудно, очень трудно, но если удастся... Отпуск – ей очередной, ему – первый. До следующего Касьяна...

Колокол! Макс ловко спустился в яму. Сейчас забьется его сердце... Он должен победить! Они победят! Обязательно!..

Анке нравилось, как он дерется.



Чертова экзистенция

Жизнь чертячья – она известно какая. Отовсюду беды жди: то крестом припечатают, то молодница справная ухватом достанет. Но такая напасть – не напасть вовсе. Это в старину хуже справной молодницы для племени чертячьего беды не было. А как перемены пошли, все стало с ног на голову... И не думайте, что если у людей карусель с рулеткой началась, так у чертей все по-старому, как при царе Паньке или при самой царице Катерине. Где там! Издавна заведено: когда у нас, потомков Адамовых, жизнь иной становится, то у чертей, считай, вдвое. Правда, что чему причиной – не скажу. По-всякому, видать, бывает: когда черти набедокурят, когда и люди свое учудят. А потом, кому жаловаться? Вот и вертятся и те и другие, словно грешники на сковороде.

Как-то перед самым Рождеством выгнали Черта из пекла. Не впервой выгнали, случалась и прежде подобная беда, да уж больно времена стояли суровые. И Черт оплошал – так провинился, что у самого Люцифера в его пекельной конторе зубы заныли. Грянул он, всем чертям начальник, кулачищем волосатым по столу, взревел медной трубой, грешников распугивая: «Ах, Черт, такой-разэтакий! А гнать его взашей! И не просто гнать!...»

Вот и выгнали. И не просто выгнали.

Сошел Черт с автобуса на районной автостанции, воротник пальтишка поправил, от ветра ледяного спасаясь, оглянулся, да и понял: плохо!

А надо сказать, что пострадал Черт аккурат из-за Жан – Поля Сартра, философа французского – того, что экзистенцию выдумал. Выпала Черту служба в самом городе Париже. Не из самых худших служба. Это лишь показаться может, что нашему православному черту в заморской земле делать нечего. Совсем не так, напротив! Тогда в Париже православных собралось, что душ грешных в Пекле. Известное дело: паны да подпанки от беды подальше из России подались, а с ними просто случайный люд толпой немалой. И все злые, все голодные, все друг к другу хуже, чем черт к черту. Собирай души грешные, не наклоняйся даже! Черт наш сыром полтавским в масле катался, на серебре ел да премии каждый квартал из Пекла получал.

А вот взяли – и выгнали!

Сартра этого Черт на Монпарнасе встретил, в шинке тамошнем, что у них, французов, «кафе» именуется. Сели за стол, абсента зеленого выпили, словцом перекинулись, снова выпили – уже до изумления. Вот и понравились один другому, общаться принялись. В том тоже беды не было бы, потому как по Сартру давно свои, французские бесы плакали; но только охмурил иноземный философ нашего Черта.

– Растолкуй мне, пане Сартр, что есть твоя экзистенция? – спросит, бывало, у него Черт. А тот и рад, ему бы только про экзистенцию толковать. Объясняет Жан-Поль Сартр приятелю новому, чего он там выдумал, а Черт кивает, слушает внимательно. Но вот лихо! О делах подобных они под абсент зеленый говорили, потому что без абсента философские мысли никак не рождаются. А где абсент, там граппа итальянская, где граппа, там и родимая горилка. Так что не понял Черт из всех пояснений почти ничего. Почти – потому как одну мысль Сартрову все же ухватил.

– Что ни твори, добро ли, зло, – разницы никакой нет, – повторял утром Черт, кофе черный с граппой смешивая (и этому Сартр его обучил!). – А разницы нет, потому как добро абсолютным не бывает, значит, для кого оно добро, а для кого – совсем наоборот. И со злом такая же история.

Допивал Черт кофе с граппой, заваривал по новой.

– А если так, что толку в моей чертячьей службе? Вот, к примеру, приказано мне зло творить, православный люд смущать да искушать. А как понять, что оно есть? Искушу, скажем,

а душа православная оттого, напротив, спасется – и прочих спасет? Нет, непонятно выходит! С другой же стороны, даже если не делать вообще ничего, все равно что-нибудь да случится. Может, доброе, может, и нет. Но ведь случится, причем без всяких наших стараний! Тогда зачем мы, черти, вообще нужны?

И такая забрала нашего Черта экзистенция, что забросил он службу. Все равно, мол, и без меня зла вокруг полно – и добра тоже полно. Сами люди себе все и устроят, причем в лучшем виде. Так к чему подметки стирать?

Ясно, что премии в следующем квартале Черт не получил. Может, выкрутился бы, за ум свой чертячий взяться успел, но только граппа подвела. Принялся Черт по кафе парижским про экзистенцию толковать. И со знакомыми, и с теми, что не очень. А дальше – ясность полная. У чертей с этим делом хуже, чем у нас. Легла бумага, бесовскими каракулями исписанная, прямо на стол Люциперов, грянул он кулачищем...

В одном повезло Черту, хоть и не слишком. Был он Черт уважаемый, не из новых, которые от грязных брызг народились или из яйца пасхального неосвященного вылупились. Настоящий Черт, коренной! Вот и позволили бедняге самому ту дыру выбрать, в которой ему теперь жить-бедовать предписано будет. Сунули Черту под самый пяточок карту французского Генерального штаба: показывай! И вспомнил он, как в давние годы заглядывал на хутор Ольшаны, что в славной Малороссии. Хмыкнул, ткнул когтем. И не подумал, что был прежде хутор – стал райцентр, была Малороссия – и ее переименовали.

Понял лишь, когда с автобуса сошел. Оглянулся, поморщился. Тут его под локоток и поддержали. Аккуратненько так.

– А документик ваш, гражданин?

В прежние годы черти – те, что издалека к нам жаловали, – под шляхтичей польских да под купцов немецких рядились. Поглядишь на такого: фу-ты ну-ты, пан пышный! Но и здесь перемена вышла. Оказалось на Черте нашем пальтишко драповое с вытертой подкладкой, шапка-бирка, что теперь «пирожком» именуется, и ботинки киевской фабрики со шнурками рваными. А ко всему – фибровый чемоданчик, в котором и коту тесно. Привыкай, мол, ссыльнопоселенец пекельный, кончилось твое панство!

Понял Черт: и вправду плохо. Полез за паспортом во внутренний карман, а пока доставал, пока ощупывал и мысленно перелистывал, сообразил: еще хуже! Но только делать нечего. Достал, предъявил.

– Ай да паспорт! – захохотали те, что под локти Черта взяли. – Всем паспортам паспорт! Да с таким тебя, гражданин, и в тюрьму Лукьяновскую не пустят!

Что правда, то правда. Сплошные «минусы» в паспорте: в Москву нельзя, в столицы республик нельзя, и даже в центры областные. Некролог, не паспорт! Видно, здорово досадил Черт начальству пекельному.

– Ну, ладно, – отсмеялись. – Держи, лишенец. Живи пока!

А как вернули документ, как вышел Черт на площадь у вокзала... Куда теперь? Прежде все помнил: там шинок огнями светил, там голова, грешник забубенный, проживал, там ведьма знакомая из-за плетня выглядывала. А теперь... Дома кирпича красного в два этажа, грузовики по дороге пыль снежную поднимают. Холодно, сыро... Куда Черту податься?

– А здоров будь, значит!

Поглядел Черт – подумал, что прежние весельчаки вернулись. Ан нет, не они – знакомец давний из родного Пекла.

– Никак Фионин? – всмотрелся. – Ишь, каким важным стал, и не узнать-то!

Сам же смекнул: хоть и в шапке-бирке, хоть с паспортом негодным, а все одно – встретили.

– Да и тебя не узнать! – отвечает ему черт Фионин. – Словно после лагеря исправительно-трудового. А меня по фамилии звать не могли, с «гражданином» именууй. Ну, пошли, что ли?

Не стал Черт спорить. Это прежде Фионин самым никудышным чертом считался – из тех, что веревки висельникам подают. Теперь и морду отъел, и в пальто ратиновое вырядился. А на левом боку, под пальто – револьвер в кобуре желтой. Вроде и не видно, но только от взгляда чертячьего не скроешь.

Зашли они в ресторанчик вокзальный, взял черт Фионин «мерзавчик» да пару котлет, стаканы выставил.

– Не потому угощаю, что персона ты значительная, – пояснил. – Был ты важным – никаким стал. А потому угощаю, что у нас у всех теперь чертячье равенство. Прежде небось и горилки со мной бы не выпил, побрезговал, а теперь – не откажешься, поди!

И вновь не стал Черт спорить и отказываться не стал. Про себя же решил, что прав приятель его Жан-Поль Сартр. Захотел черт Фионин гонор свой показать, с гостя спесь сбить, а ведь доброе дело сделал. И водки поднес, и поведать о здешнем житье-бытье захочет. Иначе зачем приглашал?

И в самом деле. Как выпили, котлетами холодными зажевали, приосанился черт Фионин, платком батистовым губы вытер.

– Ну, слушай! Чего прежде было – забудь. Раньше ты волю свою показывал да Месяц с небес перед Рождеством воровал, теперь же – зась! Наша теперь власть!..

Не выдержал Черт – улыбнулся. Славная была история с Месяцем, ох славная, даже теперь вспомнить приятно! Ведь это только кажется, что Месяц с небес легко добыть, если ты черт, конечно. Хитрое оно дело, не всем чертям доступное.

– И про Рождество забудь. Нет теперь Рождества – и Великдня нет, и Петрова поста разом с Великим. Порядки теперь здесь правильные, пекельные. Никаких тебе ведьмовских шабашей, никаких опыров с одминами. Были – и нету! А какие остались, строго живут, по патенту работают, не самовольничают. Потому что души теперь тоже целиком – наши. У кого хотим, у того отнимаем, и не иначе. Понял ли?

– Понял! – кивнул Черт, немало удивляясь. – Что ведьм с прочими скрутили, ясно. И что души ваши целиком – тоже. Но с Рождеством-то как вышло?

Сам же думает: болтай, Фионин, болтай! Никогда ты умом своим чертячьим не славился. Чеши языком длинным!

– А календарь о восемнадцатом годе зачем меняли? – заухмылялся черт Фионин. – Календарь поменяли, а праздники все в прежние дни оставили, по старому стилю. Вот и нет теперь в них силы!.. Ну, не это главное. А главное, что первым сегодня у нас в районе гражданин Сатанюк. Скажет – орденом тебя наградят, скажет – шкуру на школьные ранцы сдерут. Он и среди нас, чертей, первый – и среди людей тоже. Потому как прятаться нам, чертям, сейчас не резон, напротив. Так что слушайся во всем – да приказы выполняй. Вот Рождество отменное отгуляем и поставим тебя, лишенца, веревки висельникам подавать. Забудешь о своем Париже, ох забудешь!

Совсем скверно Черту стало. Понял: и такое сделают. А главное, знал он черта Сатанюка, что ныне «гражданином» обернулся. Довелось встречаться! Да так, что и без новой встречи вполне обойтись можно.

Поглядел на него черт Фионин, лапой пухлой по плечу похлопал.

– Понял? Вижу, понял! Ну ладно, живи – пока! А мне на бюро райкома пора, списки утверждать станем. На таких, как ты, вражина!..

С тем и откланялся. То есть кланяться, конечно, не стал, даже кивнул еле-еле.

Вышел Черт на улицу, чемоданчик фибровый в руке пристроил – да и побрел куда глаза глядят. Идет, а сам вновь о приятеле Сартре размышляет. Вот ведь как выходит! Вроде доброе для них, чертей, дело случилось: и Рождества нет, и черт знакомый на хуторе, что теперь райцентром стал, верховодит. В прежние дни, когда любой казак мог молитвой припечатать, о таком и не мечталось. Казалось бы, хорошее дело? Вот только почему-то все больше о веревке намыленной думается – и не чтобы висельнику ее подать, а чтобы себе оставить.

Идет Черт, о Сартре размышляет – и по сторонам поглядывает. Не позднее еще время, ходит народ туда-сюда по улице. Принюхался Черт по привычке – не пахнет ли где грехом? Дрогнул ноздрями – да чуть и не задохнулся. Всюду, всюду дух грешный! И такой густой, что с непривычки обмереть можно. Не поверил Черт, в душу первого встречного заглянул. Эхма, что в душе-то! Мечтает она, как рассмотрят в «инстанции» письмо анонимное, которое три дня назад в ту «инстанцию» отправлено. Рассмотрят, меры примут. Черт – в другую душу, а там и вовсе мрак. Вспоминает душа, как врагов лютых к кирпичной стенке ставила, как сапоги да галифе, еще теплые, с дружками своими делила. Помотал Черт башкой ушастью, высмотрел на улице дивчину пригожую. Уж у такой в душе иное совсем будет!

И вправду – иное. Умел бы Черт краснеть, залился бы краской до кончиков ушей своих собачьих. А тут и не покраснеешь даже. Одно осталось – лапой когтистой махнуть. Махнуть – и ночлег искать приниматься. Потому как в дни прежние можно было к знакомой ведьме заглянуть или в шинке пристроиться, а теперь, да еще когда в паспорте – сплошные «минусы»...

Повезло Черту – порой и такое случается. Дошел он до места, где раньше постоялый двор был, где чумаки, что из Крыма ехали, шеляги чумацкие пропивали. А там он и есть, двор постоялый. Почти такой же, только стены кирпичные да на вывеске «Дом колхозника» значится. Обрадовался Черт, заулыбался. Там, где торгуют, там ему, Черту, и место, как бы времена ни менялись. Достал он бумажник, подсчитал наличность (три червонца всего оказалось). «Хватит ли?» – подумал. Решил: «Хватит!» Зашел в ларек ближайший, взял две скляницы зеленого стекла с белыми «бескозырками» – и на порог. А как чемодан фибровый под койку бросил, так и пошел со сторожем местным знакомство сводить.

На постоялом дворе черт всегда своего сыщет.

Между тем и ночь настала – та самая, Рождественская. Ясная ночь, тихая. Вот и Месяц острогорый над Олышанами показался. Показался, блеснул боком серебряным.

И пропал, словно не было.

Гражданин Сатанюк в ту ночь на службе пребывать изволил. Не один – с чертом Фиониным и всем прочим кагалом чертячьим. Обнаглело бесово семя, адово племя! Вместо того чтобы в Пекло спешить, пока петухи голос не подали, решили они честь по чести Рождество запрещенное справить. Мол, прежде ваш верх был, теперь наш настал. Навсегда!

В кабинете и гуляли. В наши дни начальство больше бани предпочитает, а в те годы какие бани? Одна на весь город – и та на ремонте второй уже год. Но и в кабинете устроиться можно, особенно если кабинет непростой. Тут тебе стол – всем столам стол, быка колхозного уложить можно, а тут и дверца в горницу укромную. Называется горница «комнатой личного отдыха», а какого именно, начальству виднее. Гуляй – не хочу!

Вот и гуляли. Стол бутылками заставили, закуски, с базы привезенные, по тарелкам разложили. К закускам – патефон с пластинками польскими и румынскими, а к патефону – молодичи одна другой краше. Хоть и не чертовки, а хороши! Звенят рюмки, поет-гремит патефон, заморский танец танго танцевать манит. Хохочут молодичи, улыбаются зазывно, на двери горницы скрытой кивают. Вот она, жизнь чертячья, иной нам и не надо!

Почти до самой полуночи гуляли-безобразничали. А потом велел гражданин Сатанюк черту Фионину в окошко выглянуть. Жарко ему, начальнику бесовскому, стало, вот и решил

узнать: хороша ли погода. Если хороша, если тихо, так отчего бы кости не размять, не прогуляться всем кагалом по улице? Мол, прежде мы, черти, прятались, а теперь – наше время!

– Ну, чего, Фионин? – спросил гражданин Сатанюк. – Снега нет ли?

– Никак нет, – вздохнул тот. – Ни снега нет, ни Месяца нет. Украли, видать!

– То есть как укра?.. – взревел гражданин Сатанюк сиреной паровой.

Не доревел. Обрезало.

А наш Черт меж тем давно по улицам гуляет. Сторож со двора постоялого не бойцом оказался – с полутора скляниц храпака задал, с иными же прочими знакомство свести пока не вышло. Так почему бы и не выйти на улицу в такую ночь, особенно если в Пекло не гонят?

Вот и ходит себе Черт вдоль улиц. Не просто так – вспоминает. Ведь есть чего, есть! Вот тут, где теперь памятник, серебрянкой смазанный, шинок стоял. Всем шинкам шинок, до самой Полтавы – да что Полтавы! – до Киева слава о нем летела. Приезжали в тот шинок паны важные, дивились. Что за притча? И горилка вроде бы такая, как и всюду, и сало, и пампушки с чесноком. Такая – а все ж иная, куда как иная! Хлебнешь, зажуешь, занюхаешь – и в свой Киев возвращаться расхочется. А уж когда скрипки играть начинали!.. Все дивились, Черт не дивился. Содержал тот шинок его давний приятель, ведьмак, который всей местной нечистью верховодил. Ох и славный шинок был! Там Черт и познакомился с паньчом из Больших Сорочинцев, что страсть как байки про нежить всякую слушать любил. Слушать, записывать – и сам сочинять. Добрый был паньч, только худо кончил. Плохо от черта к попу кидаться!

Вздохнул Черт: был шинок – нет его. И ведьмака нет, давно в котле пекельном бока греет, и паньча любопытного. Нет их! Если б только их! Помнил Черт: когда Рождество близко, спешат хлопцы и девчата колядовать, рядятся волхвами да медведями...

Безлюдно на улицах, скучно! Видать, крепко запретили Рождество. Нет, ничего нет. А это что? На дом панский похоже, колонны у входа, крыльцо высокое, на вывеске «Ольшанский Дворец культуры» написано. Шагнул Черт ближе, принялся, да и похолодел. Чего там, за стенами и за колоннами, не понял, но на всякий случай на другую сторону улицы перешел. Экий страх, даже Черта напугали!

С «Дворцом культуры» ясность полная. А что еще тут в наличии?

Оглянулся Черт, от лишнего глаза опаску имея. Но только пусто, ночь зимняя вокруг, ни души на улице. И в небе пусто: был Месяц – нет Месяца. Хмыкнул Черт, затылок, прической «бок» стриженный, почесал...

Там, где прежде роща стояла, парк оказался. Не роща, конечно, но деревья в наличии. Поискал Черт, какое из них вербой будет. Хоть и без листьев, а узнать можно.

– А ну, вылазь! Вылазь, говорю!

Только кто ответит? Ночь, тьма зимняя, Месяца и того нет.

Хмыкнул Черт, губы дудочкой сложил.

Них, них, запалам, бада,
Эшехомо, лаваса, шиббода,
Яндра, кулейнеми, яндра...

Не взяли бы Черта в «Гран-Опера» петь, и даже в сельский клуб не пустили бы. Не дал Люципер талану! Только порой важно не как поешь, а что. Зашевелился снег под вербой, листья прошлогодние встопорщились. Показалось из-под них круглое да серое. Выглянуло, вновь спряталось.

– Кумара? – пискнуло еле слышно.

– Кумара-кумага! – засмеялся Черт в ответ. – Жунжан!.. Вылезай, Клубок! Не признал, что ли?

– Признал...

Встал перед ним черт Клубок – такой, каким был в годы давние: сутулый и седой, глаза – плоски желтые, борода козлиная, рога козлиные. А в рогах – вроде клубка шерстяного. Ох, не завидовали тем, кому такой клубок ночью под ноги попадался!

– Признал, – повторил, бороду козлиную почесав. – А как не признать-то? Кто из нынешних «Кумару» помнит? И песни наши забыли, и Рождество справляют, нас, стариков, срамят... Давно приехал?

Так и разговорились.

Из парка Черт к Студне-речке собрался. Не пропала речка, только обмелела и грязней стала, даже сквозь лед заметно. Пошел он туда, хоть и надежд особых не имел. За Клубка, приятеля стародавнего, Черт спокоен был. Куда тому пропадать? Или в округе все вербы перевелись? А вот Мостовой, что мосту старому хозяином считался, мог и не уцелеть. Давно мост сломали, еще полвека тому. Разобрали – и новый, железный построили. Прижился ли Мостовой? При железе служить опасно, это Черт еще по Парижу запомнил. Эх, веселым чертом был Мостовой! Клубок – тот без выдумки обретался, по земле катился да с пути сбивал. Или огнем пыхал. Мостовой же без шуток и ночи не проводил. Позднего прохожего на мосту встретит – меняться предлагает. У кого кожух добрый, тому новый, еще лучший сулит, у кого кобза – заморскую гитару обещает. А уж когда дело до уговоров дойдет, никому не устоять! Однажды и вовсе смех был: попа повстречал, что от гулящей молодежи под утро пробирался. А у попа блудливого – бородачи до пояса. Заступил ему Мостовой дорогу, не побоялся, потому как нагрешил в ту ночь поп выше креста церковного. К перилам деревянным прижал его Мостовой и бородами меняться велел. Понимал: не станет гулена долго спорить. Ох и срам случился, когда матушка-попадья поутру увидела, что именно у благоверного на подбородке выросло! Ох и гремело смехом все Пекло! Жаль, историю эту Черт своему приятелю Сартру не поведал. Хотел, да все некогда было.

Шагнул Черт на мост, «Кумару», тайную чертячью песню, насвистывая. Только ступил – так сразу и замер, потому что иной звук услышал. Урчал где-то поблизости мотор автомобильный.

– «Эмка», – определил Черт. – Карбюратор чуток барахлит, чистить пора... А не по мою ли шкуру?

Вот тут-то его и взяли.

– Сгною, удушю! – орал черт Фионин, лампу трехсотсвечовую ближе пододвигая. – В Кармурлаге заморю, в святой воде топить стану!..

Морщился Черт от огня пекельного, зрачки ему рвущего, кривился – и прикидывал, что в прежние времена одной такой лампой весь хутор, который на месте райцентра стоял, осветить можно было.

– Шкуру сдеру, падла! Где Месяц, спрашиваю? Куда девал?

Не выдержал Черт, отвернулся. Уж больно огонь ярок был.

– Ищите!

Взмахнул Фионин лапой когтистой, в кулачище сжатой, но так и не ударил. Хоть и власть у него, хоть и в кабинете они запертом, да только закон у чертей строгий, не в пример людскому. Не пойман – не вор, значит, и бить нельзя. Хуже того! Испокон веков в Пекле подлость ценилась. Подлость – и ловкость. А что может быть подлее и ловчее, когда своих же чертей в обман ввел? За такое немалую награду давали. Если же в совсем важном деле пакость учудил, иных чертей в беду сумел втравить, так не просто награду. Назначали того черта на освободившееся место – за то, что подлеи оказался. В общем, все у них, у чертей, как у нас. Чуток честнее только.

Не ударил Фионин, поостерегся. И револьвером грозить не стал, хоть и красовался он рядом – на столешнице, зеленым сукном обитой.

– Пошутил – и хватит! – сбавил тон черт Фионин, даже лампу чуть отодвинул. – Ну зачем тебе Месяц? Не продашь ведь! А как у нас неприятности начнутся, так ведь и тебе...

Умолк – плохо вышло. Проговорился! Схватился было от злости за револьвер, да передумал.

– На постоялом дворе искали? – сочувственно вздохнул Черт. – Мой чемодан под кроватью.

Скривил морду черт Фионин, словно ему и вправду воды святой поднесли. Искали, как не искать! Всюду искали, даже в ресторане, где они с гостем водку котлетами заедали. Не шутка ведь – Месяц! Это прежде такие дела сами собой утрясались, а теперь, при новых-то порядках! Того и гляди из Миргорода позвонят или из самой Полтавы. Где Месяц, мол? Кто дал приказ на изъятие, кто в народе ненужные суеверия распускает? А не вредительство ли у вас в наличии?

– Отдай Месяц, а? – уже не приказал, попросил черт Фионин. – Христом-Бо... Тыфу ты, с тобою и язык отсохнет!

– Не брал я Месяца! – не выдержал Черт, улыбаясь во всю свою зубастую пасть. – На месте он, смотреть лучше надо. А то говоришь, порядок, порядок...

Зарычал черт Фионин, сжал револьвер в когтях. Но тут в замке ключ повернулся. Открылась дверь, шагнул на порог сам гражданин Сатанюк в красе и силе своей. Реглан кожаный расстегнут, на сапогах яловых то ли грязь, то ли снег с грязью, портфель немецкой кожи под мышкой. Вскочил черт Фионин, руки по швам опустил, замер царским гренадером. Не посмотрел на него гражданин Сатанюк, к столу шагнул, плеснул в стакан воды из графина. Хлебнул, поморщился. Мутна вода, давно не меняли.

– Отпусти его!

– Как отпустить? – обомлел Фионин, от изумления языком о клыки цепляясь. – Он это, он! Он Месяц украл, я докажу, я его в подвале...

Зарычал гражданин Сатанюк, морду псиную сморщил:

– На месте Месяц, чтоб его! Я в Полтаву звонил. И в Миргород, и в Киев. Всюду на месте, только у нас одних пусто.

– Ну, так... – Черт Фионин аж подпрыгнул. – Туча это! Я же говорил: туча! Вот...

Подбежал к окну, отдернул тяжелую штору. Застонал.

– Хоть бы не заметил кто! – вздохнул Сатанюк, без всякой, впрочем, надежды. – Где там! Сами же к бдительности приучали.

– Явление это астрономическое! – не сдавался черт Фионин. – Скажем, что необъяснимое наукой...

– Вот и будешь объяснять, за кругом Полярным, – перебил Сатанюк и к Черту повернулся. – Слушай, может, договоримся, а?

Не стал Черт отвечать. Встал – да и вышел, о приятеле своем Сартре подумать не забыв. Прав философ, во всем прав! Какой мудрец скажет, доброе ли дело сотворилось – или совсем напротив? С одной стороны, не дали людям Месяцем полюбоваться в Святую ночь, с другой же... Сильна она, экзистенция!

Как в воду глядел гражданин Сатанюк. Заметили в райцентре непотребство, с Месяцем приключившееся. В ту же ночь на карандаш взяли, а на следующее утро куда следует сообщили. И вправду не дело: календарь, властью изданный и властью одобренный, Месяцу на небо подняться велит, наука наша, самая передовая в мире, с этим вполне согласна. А Месяц, простите, где? Как народу трудящемуся пояснить? Что в ночь Рождественскую, из праздничной в обычную разжалованную, кто-то провокацию устроил, дабы внимание ненужное привлечь? И если бы хоть повсюду, так ведь нет, только в одних наших Олышанах!

Написали, а для верности еще и позвонили – прямо в Киев. В пекельное же ведомство звонить нужды нет, там сразу узнали, не замешкались. В общем, началось.

Одно спасение имелось – в следующую ночь Месяц народу явить. Иное бы тоже годилось: тучами небо затянуть да на тучи все задним числом и списать, но только не властен черт над Небом! Это ему не на Земле пакости да мерзости творить. Так что не вышло с тучами – и с Месяцем не получилось. Следующая ночь звездная выдалась, ясная. Над Миргородом Месяц взошел, пополневший слегка, и над Полтавой взошел, и над Харьковом. Только над Олышанами темно.

Чего уж там гражданин Сатанюк с чертом Фиониным делали, к кому обращались, про то никто в точности не ведаёт. Говорят, падали нашему Черту в ноги, обещали на любую должность назначить, какой угодно оклад выписать, а вместо железного моста вновь деревянный построить. Что и как отвечал им Черт, неизвестно, но только ясно – не помогло.

На третье утро, под самую зорю, загудели моторы. Три черные машины – из города Полтавы. Выглянули те, что посмелее, в окошки, головой покачали: ну, будет! А когда из первой машины вышел сам товарищ Химерный с «маузером» в деревянной кобуре на ремне, все понятно и стало. Ведь от Харькова до галицийской границы каждому было ведомо: не страшны товарищу Химерному ни черти, ни бесы, ни прочая нежить, потому как страшнее его самого в те дни никого и не найти.

А еще через неделю в пустой кабинет гражданина Сатанюка нашего Черта и вселили. Незаметно так, без шума. Вселили да попросили шепотом: Месяц на небо верни и больше такого без спросу не твори. А за это живи как знаешь. Хочешь – Сартра из Парижа приглашай, хочешь самого Эйнштейна из Америки. Только чтобы тихо, тихо...

Согласился Черт – отчего бы на такое не согласиться? Подписал приказ о вступлении в должность и второй подписал – о товарище Клубке, своем новом заместителе. А на следующую ночь Месяц на небе появился. Совсем круглый, с червоточиной малой на левом боку. Кто вздохнул облегченно, кто даже перекрестился от несознательности...

И настала в наших Олышанах жизнь – лучше не придумать. Товаров в магазинах, понятно, не прибавилось, и люди умнее не сделались, зато тишина вокруг такая была, что иззавидоваться можно. И людям воля – и нечисти, какая уцелела и схоронилась, тоже воля. Ведь Черт после всей кутерьмы окончательно в экзистенцию Сартрову уверовал. И в самом деле! Поди пойми, где добро, где зло. А раз так, то и делать ничего не надо. Все равно что-то да случится. Как есть случится!

Заместитель его, товарищ Клубок, в данном вопросе с ним всегда соглашался, вот только порой на посетителей огнем пыхал – по привычке. Но ничего, не обижались, а если случалось такое, то не слишком сильно.

Бывало, соберутся Черт с приятелем своим, чертом Клубком, в тайной горнице за кабинетом, разольют граппы, поднимут стаканы.

– Ну так чего, брат? – спрашивает Черт. – За них! За времена наши былые, правильные! И за нее, за экзистенцию!

– За них! – отвечает Клубок, стеклом о стекло ударяя. – И за нее! Только объясни наконец, брат, с чем ее, экзистенцию, едят-то?

И немедленно выпьют. Потом закусят от души, затянут свою «Кумару», да так, что на соседней улице слышно. «Них, них, запалам, бада, эшехомо, лаваса, шиббода...»

А вот где и как Черт граппу доставал, сказать не берусь. Черт все-таки! С их племени пекельного и не такое станет.

Черт уже подумывал Сартра из Парижа пригласить, чтоб веселее было. А заодно и в самом деле железный мост деревянным заменить, сменщика приятелю своему Мостовому (так

и не объявился, бедняга!) сыскать. Не успел. Через год и за ним черные машины приехали, тут уж никакая экзистенция не помогла. Что ни говори, а плоха она, жизнь чертячья, отовсюду беды жди.

Где Месяц был, спрашиваете? Где же ему быть-то, на небе находился, как от веку и положено. Просто взял наш Черт у сторожа в Доме колхозника ведро с краской черной и малярную кисть, стремянку прихватил – и бок, каким Месяц к нашим Олышанам повернут, аккуратненько так закрасил. В три слоя – для верности. А после выписал из области бочку с немецким растворителем и все поправил. Это ведь для нас Месяц чуть ли не с четверть Земли размером. Для черта же, особенно если из коренных он, настоящих, тот Месяц в карман уложить вполне даже возможно. В карман, впрочем, что! Такое и прежде умели. А вот когда американцы, не подумав, решили на Месяц «Аполлона» своего послать...

Но об этом – лучше не к ночи.



Картошка

В ту весну Богдан и Люська собрали все свои сбережения и купили домик в селе Градовом – за двести долларов. Зарплату задерживали, нули на «купонах» множились, как кольца в руках жонглера, и знакомые говорили: надо иметь место для выживания и обязательно огород, чтобы кормиться. «Малого будете вывозить на лето, – убеждала Люськина мама. – Экологически чистое место, природа, продукты с грядки. А если печка есть, то и зимой жить можно».

Богдан и Люська приобрели развалюху под соломенной крышей, как при Тарасе Шевченко. Огород при «хате» лежал огромный, и оба радостно предвидели грандиозный урожай картошки. Три старых сливы и пять кустов смородины образовывали «сад», в конце огорода имелся сортир о трех стенах и без крыши. «Зато свежий воздух!» – веселился Богдан. Люська раздувала ноздри, принюхиваясь к незнакомому запаху весенней земли, розовела щеками и строила многоэтажные планы на будущее: «Тут прополоть... Тут вскопать... Тут фиалки, тут матиола... Тут будет мангал, тут летняя кухня, тут чеснок, там абрикосы...»

Приходили местные, все больше старушки, знакомились: «Говорят, Игнатича хату купили... Вы купили? А-а-а... Игнатич-то? Уже три года как помер, и хата стоит пустая... Икона-то в хате есть? Это хорошо... Три года стоит хата, никак нельзя без иконы...» Иногда вдоль забора прохаживался дядька Бык, местный сумасшедший, – смотрел, жевал губы, молчал. Люське дядька Бык не нравился.

Единственная соседка принесла желто-коричневые яйца, попросила добыть в городе курицу для мужа, который парализован, не встает. Расспрашивала, кто из родственников покойного Игнатича продал дом и за сколько.

– Задешево небось досталось? Знаю, дешево... Думали, даром никто не возьмет. А вам-то зачем оно сдалось?

– Так ведь инфляция, тетя Лен, надо недвижимость приобретать...

Соседка ухмылялась с большим подтекстом и в конце концов надоела супругам хуже комаров.

– У меня от нее голова болит, – жаловалась Люська. – Выпытывает, как следователь, и тянет, и тянет... И намекает на что-то, а на что – не говорит...

– Им тут скучно, – предположил Богдан. – Мы приехали – событие...

Перед следующей поездкой Люська взяла в гастрономе пять пачек папирос.

Весна прошла под знаком энтузиазма. Каждую субботу супруги поднимались в пять утра, брали на плечи рюкзаки и спящего сына в охапку, ехали на вокзал. Выстаивали в очереди за билетами и грузились в электричку. В поездке завтракали припасенными с вечера бутербродами; двухлетний Денис просыпался, оглядывался по сторонам и отказывался есть манную кашу из бутылочки. Иногда скандалил, тогда Богдану приходилось брать сына на руки и прогуливать по вагонам, подолгу стоять в тамбуре, тыкать пальцем за окно, где проплывали деревья и дороги, и рассказывать сказки без начала и конца, но со множеством событий: «И вдруг... он его... как схватит! А тот ка-ак... закричит!»

Через полтора часа, миновав санаторий «Ладушки» и переехав мост через Студну, электричка прибывала на полустанок. Супругам отводилось целых две минуты, чтобы вытащить на платформу сумки на тележках, сажены в перепачканных земель кулечках и недовольного Дениса. Час они сидели на привокзальной скамейке в ожидании автобуса, который шел сюда полупустым от Ольшанского автовокзала. Вокруг собирались в изобилии старушки с багажом, их было куда больше, чем свободных мест в старом «пазике», и, когда дело доходило до посадки, малого нередко приходилось забрасывать через окно.

Проведя в автобусе кучу времени и миновав шумные Терновцы, семейство высаживалось посреди дороги, переобувалось в резиновые сапоги и брело по раскисшей грунтовке. Денис к

этому времени наконец-то просыпался, радовался жизни, гонялся за воронами и хватал руками лягушек в канавках. Богдан и Люська мечтали об одном: добраться до места. Из всех достопримечательностей по пути встречалась заброшенная церковь и старое кладбище при ней.

Здоровались со старушками за плетнями – одно «здрасьте» на семь минут пути. Часам к двенадцати дня впереди показывался сперва колодец, а потом и остатки родного забора. Богдан торжественно снимал со старых скоб новенький замок, и семейство вваливалось во двор – покосившийся сарай, груды неразобранного мусора в дальнем углу, зелененькая травка всюду, куда ни посмотри.

Ночь с субботы на воскресенье проводили в «хате». Два дня с превеликими трудами очищали от сорняков заброшенный огород; одуванчики, такие милые в городе, здесь превращались в настоящих монстров, оплетали землю корнями, глушили укроп и редиску. Крапива, зверея, забивала смородиновые кусты так, что к ним нельзя было подступиться. На прогулки и рыбалку почти не оставалось времени. А предстояла еще дорога обратно – тем же порядком; в воскресенье, в половине двенадцатого ночи, едва живые супруги со спящим Денисом на руках прибывали в городскую квартиру, и обоим предстояла длинная рабочая неделя...

– Какой заряд свежего воздуха! – отважно говорила Люська. – Это замечательно – физический труд! Погляди на Деню, какой румяный...

И Богдан смотрел на вещи со здоровым оптимизмом. Во всяком случае, старался смотреть.

Он впервые в жизни косил траву косой. Собирал смородину и заваривал чай с мятой. Обнаружил, что под соломенной крышей свила гнездо незнакомая птица, похожая на ласточку, только много больше и молчаливая. Люська пыталась подкармливать птицу крошками, но та никогда не брала предложенного угощения – летала взад-вперед, бесшумная, как облако, и только ночью шелестела иногда под крышей, возилась, поудобнее устраиваясь в гнезде...

Но время шло, и затея «вывезти малого на лето» казалась все менее удачной. Денис категорически отказывался от парного молока, предпочитая сухое, разведенное из пакетика, и панически боялся коров, утром и вечером проходивших мимо домика по узкой улочке. Он вечно тянул в рот какую-то гадость, претерпевал атаки ос и напарывался на сучки, а однажды наступил на змею – змея оказалась ужиком, но прежде чем была установлена ее видовая принадлежность, Люську чуть не хватил удар. Телефона нет ни у кого в округе – случись беда, пришлось бы бежать на почту, за три километра, и вызывать «Скорую» из райцентра.

Ни одно из средств по борьбе с колорадским жуком не принесло должного результата. Богдана, опрыскивавшего ботву, мутило потом два дня, зато жуки размножались без тени смущения. Разочаровавшись в химии, Люська ходила по огороду и терпеливо собирала оранжевые личинки в баночки из-под майонеза. «Отряд не заметил потери бойца» – оценить ее страдания могли только данаиды, наполнявшие водой треснувшую бочку в древнегреческом царстве мертвых.

Капуста, едва оформившись в кочаны, подверглась атаке паразитов. Огурцы погибли как один после неудачного мелкого дождика. Помидоры, не успев покраснеть, темнели и валились на землю. Супруги попытались было устроить пляж на берегу местного озерца, но не выдержали конкуренции с коровами. Наконец однажды в июле Богдан и Люська переглянулись, перемигнулись, за полчаса собрали вещи и, взяв под мышку Дениса, ретировались домой.

Остаток лета прошел великолепно. Дождливые дни чередовались с солнечными, Денис пускал кораблики в лужицах возле подъезда, Богдан и Люська по очереди ходили в театр на гастролеров и в видеосалоны, где крутили, помимо третьеразрядных американских боевиков, многочисленные серии «Анжелики». Богдан снова занялся диссером, а Люська слушала английские кассеты.

Так закончился август, и настало время собирать картошку.

Люська ехать в село отказалась наотрез – она устраивала Дениса в садик, и за беготней по чиновникам и врачам не видела белого света. Бросать урожай на поле было жалко – одних жучьих личинок собрали не меньше трех тысяч; в субботу второго сентября Богдан поднялся затемно, взял рюкзак и поехал на вокзал – один.

Путешествовать в одиночестве оказалось неожиданно приятно. Богдан подремал в электричке и чуть не проспал свою станцию, потом, не дожидаясь автобуса, удачно тормознул попутный грузовик и уже к одиннадцати утра входил в одичавший за полтора месяца двор.

Трава стояла чуть ли не по пояс. Клумбы и грядки оккупировали торжествующие сорняки, два абрикосовых саженца засохли. Зато картофельное поле выглядело на диво пристойно – ссохшиеся хвостики ботвы дисциплинированными рядами тянулись до самого сортира, и сорняков среди них почти не наблюдалось.

Передохнув и перекусив, Богдан взялся за лопату. Первый же пробный «тык» вывернул на поверхность три большие золотисто-коричневые картофелины.

Богдан приободрился. Поле, брошенное на произвол судьбы, оказалось честным и незлопамятным: картошки было много, и почти вся – крупная, крепкая, белая на срезе. Богдан стер руки до крови, но не сразу это заметил; на обед сварил в кастрюльке картошку в мундирах и долго смаковал, вдыхая пар, вода по горячим картофельным срезам ломтиком сливочного масла. Ему казалось, что ничего более вкусного он в жизни своей не пробовал.

Все представилось в новом свете. Утомительные поездки, проклятые жуки, автобусы и электрички – все наполнилось смыслом. Богдан смотрел на огород, покрытый горками подсыхающих картофелин, и улыбался рассеянno и счастливо, как посетитель Лувра.

Наступил вечер. Морщась от боли в спине, Богдан собирал картошку в ведра, а потом в мешки. Всю собрать не успел – стемнело; мышцы болели, ладони саднили. Он вскипятил себе чаю и открыл банку кильки в томате. Посреди двора догорал костерок из картофельной ботвы. Богдан сидел, глядя в огонь, ни о чем не думая. Ощущал, как медленно успокаивается ноющее тело. Вокруг стояла темнота, какой никогда не бывает в городе, – крошечная тьма, окна далеких соседских домиков не светились, луны нет, только звезды проглядывали в разрывы облаков. Тлели угольки. Шелестел ветер листьями бесплодных сливовых деревьев, далеко-далеко – может быть, в соседском селе – лаяла собака...

А потом замолчала.

В сгустившейся тишине и темноте Богдан поднял голову – и мороз продрал по коже.

Легкие быстрые шаги. Шелест сухой травы. И крик – еле слышный, нечеловеческий крик боли. Как будто издыхает задавленная подушкой птица.

Богдан вскочил. Нащупал на поясе фонарик, кинулся на огород – на звук. Белое пятно света тыкалось вправо-влево, выхватывая ботву, расстеленные на земле мешки, ведро, какую-то тряпку...

По огороду шел кот – очень большой. Богдан любил котов, Люська прикармливала трех соседских кошек, – но этот нес в зубах птицу. Дергалось, роняя перья, крыло. Даже ради любви и уважения к кошкам Богдан не согласился бы терпеть разбой на собственном огороде.

– Ах ты, дрянь! А ну, кинь немедленно! Убью!

Кот медленно обернулся. Луч фонарика уперся ему в морду – в лицо. Богдан отпрянул.

Стоящее перед ним существо не имело к семейству кошачьих никакого отношения. Узкие щелочки-глаза смотрели осмысленно, злобно, насмешливо. Нос отсутствовал. Зато рот, в котором трепыхалось тельце птицы, был вертикальный, правая челюсть и левая челюсть сжимались, смыкая крючкообразные зеленоватые клыки.

Богдан выронил фонарик. Отступил еще на шаг – и споткнулся о горку не убранной с поля картошки. Стояла полная тишина; фонарь лежал на земле, посылая луч в сторону сортира, и поперек световой дорожки неторопливо скользнула тень хищника с птицей в зубах. В одной руке у Богдана оказалась зажата огромная картофелина, подобранная машинально.

Зубастое существо снова возникло в пятне света; птица в челюстях висела, безжизненно откинув красивую, черно-белую, как у ласточки, голову.

Богдан завизжал от ужаса и отвращения – и швырнул картофелиной прямо в страшную харю.

Посыпались редкие искры, как если бы на огороде кто-то пытался разжечь отсыревший бенгальский огонь. Темнота взывала хрипло и яростно. Богдан повернулся и кинулся наутек – дальше сражаться с порождением ночного кошмара не оставалось ни сил, ни отваги.

Ночь прошла плохо. Зато утром на огороде не обнаружилось никаких следов схватки, кроме горстки черных перьев, которые могли быть потеряны раньше – кем угодно и при каких угодно обстоятельствах.

* * *

Поначалу он стеснялся рассказывать Люське про случай на огороде. Потом рассказал вроде как в шутку, под видом анекдота; Люська посмеялась, но неубедительно, и на следующие выходные предложила ехать «на картошку» вместе.

Дениса решили пощадить и оставили бабушкам. Захватили побольше мешков, две тележки на колесиках, встали в пять утра и поехали. Надо сказать, Богдан очень красочно описал Люське, какая замечательная картошка уродилась, как легко и приятно ее копать. Тем большее потрясение ожидало их в конце пути.

Все оставалось на месте – замок на ржавых скобах, туалет со старой клеенчатой скатертью вместо двери, дом, сорняки и три сливы. Вот только картофельное поле было перерыто будто стаей спятивших кротов. Не осталось ни картофелинки; Богдан и Люська стояли, не зная, что делать и что говорить, и смотрели на дело неизвестно чьих рук.

– Это воры, – сказала наконец Люська, стараясь, чтобы голос не дрожал. – Я про такое слышала... Просто пришли и вырыли.

Посреди двора, в кострище, нашлось несколько обгорелых картофельных шкурок, и это подтверждало Люськину версию: воры, собрав чужой урожай, еще и запекли картошечку в костре и сытно поужинали.

Богдан развел огонь в печи. Не разговаривая и не глядя друг на друга, супруги перекусили килькой в томате.

– Уедем сегодня? – предложил Богдан.

Люська кивнула и через минуту добавила:

– Знаешь... А давай вообще тут все продадим. На фига?

Перед тем как уехать, Богдан сделал два дела. Во-первых, невесть для чего подставил лестницу и заглянул в гнездо птицы, похожей на ласточку.

– Да она улетела давно, – сказала снизу Люська. – Слезай, а то навернешься... лестница гнилая...

Гнездо в самом деле было пустое, брошенное, как дом. На дне лежали черные перья.

Богдан слез с лестницы и пошел к соседке. Передал две пачки папирос для мужа и спросил как бы между прочим:

– У нас тут... никого не видели? На огороде кто-то покопался, всю картошку вырыл...

Соседка округлила глаза и побледнела:

– Не видели, Богдасик, и не слышали. Никого не было.

– Там много работы. На пару дней...

– Не видели. Может, ночью? Бывает такое: воры ночью придут, все обтрясут, повыроют...

Богдан вздохнул и попрощался. От калитки обернулся:

– Теть Лен... А вы тут кота здорового не видели? Такой... Зенки такие...

И растянул к вискам уголки собственных глаз, будто изображая китайца.

Бабка энергично закрестилась, рука ее замелькала в воздухе, как спицы колеса:

– Нет, что ты! Что ты! Игнатъич, царство ему небесное...

Скрылась в доме и захлопнула дверь. Богдан вспомнил, что Игнатъичем звали прежнего хозяина дома.

* * *

Супруги испытали облегчение, когда сделка купли-продажи наконец совершилась. Они продешевили, конечно, продавая дом осенью, а не весной, да еще в спешном порядке. Новый покупатель заплатил сто восемьдесят долларов – но Богдан и Люська и тому были рады.

На обратной дороге, в электричке, Люська призналась: не хотела ведь покупать хату, не нравилась она Люське ни одной секунды!

– Еще и эта... баба Палажка, придурковатая, на углу живет, помнишь? Подошла ко мне и сказала: мол, Игнатъич был колдун, наплачемся мы с его хатой...

– Да ну ее, эту картошку, – вяло махнул рукой Богдан.

Он страшно устал. Хотелось спать.

Оба ушли с головой в работу и учебу, благо Денис теперь ходил в садик, хорошо прижился в коллективе и почти не болел. Картошку покупали в магазине – меленькую, часто гниловатую. Потом удалось «с машины» купить два мешка по приемлемой цене.

– Теперь на всю зиму, – довольно говорила Люська. – Бр-р... Как вспомню этих жуков...

Богдан не вспоминал о случае на огороде, пока однажды ему не привиделась огромная мохнатая тень, одним прыжком перескочившая через детскую песочницу. Богдан возвращался вечером с работы, фонари не горели, а в тусклом свете редких окон немудрено принять за чудовище обыкновенного кота с помойки.

Люська, открывшая дверь, была бледна и нервно хихикала:

– Орал тут соседский кошак под дверью... Прямо выл, таким голосом жутким... Хотела выйти, шугануть...

– Вышла? – спросил Богдан.

Люська смутилась:

– Знаешь... Поздно все-таки... Решила лишний раз дверь не открывать.

А через несколько дней, вернувшись с работы с Денисом под мышкой, Люська обнаружила входную дверь исполосованной в клочья. Дерматин висел черными ленточками, уродливо торчали куски ваты.

– Участковому скажу, – пообещал, вернувшись, Богдан. Люська держалась молодцом – спокойно объясняла Денису, что плохие мальчишки из соседнего подъезда балуются, режут чужие двери, но дядя милиционер их поймает и накажет...

Участковый долго жаловался на свинцовые мерзости «бытовухи» и маленькую зарплату. Богдан сочувственно кивал. За ремонт двери пришлось выложить деньги, отложенные на электрический чайник.

А еще через пару дней, наскоро завтракая за кухонным столом, Богдан поднял голову – и встретился взглядом с глазами-щелочками на круглой морде без носа, с вертикальными челюстями. Морда прикинула к оконному стеклу – снаружи.

Богдан поперхнулся. Прибежала Люська; в окне, разумеется, никого не было, и Богдан постеснялся рассказать жене правду. Он всегда считал себя выдержанным человеком с крепкими нервами. Но вечером по дороге домой зашел в аптеку и купил флакончик валерьянки.

– Для кота? – спросил знакомый провизор Костя, веснушчатый любимец окрестных пенсионеров.

– Ага, – беспечно ответил Богдан. И, выйдя из аптеки, почему-то перекрестился – впервые в жизни, скованно и неуклюже.

Валерьянка не помогла. Ночью Богдану приснился сон, который вполне проходил по ведомству кошмаров. Он сидел на овощной базе, перебирал картошку, но хороших клубней не было – в руках растекалась кашицей гниль. Он знал, что из всего университета прислали по разнарядке его одного и он не уйдет отсюда, пока не выполнит норму. Ящики громоздились вокруг, закрывая небо; за бастиянами из гвоздеватых досок прятался кто-то, подглядывал, но Богдан не мог застать чужака врасплох, как резко ни оборачивался, как ни вертел головой. По овощехранилищу гулял ветер, порывы складывались в шепот, похожий на скрип:

– Расплатишься...

Он проснулся в отвратительном настроении и с утра накричал на Дениса. Сердитая Люська увела в садик сердитого сына, а Богдан долго остывал над чашкой холодного чая. Уныло поглядывал в окно на унылый дворик и встрепенулся, лишь когда на подоконник села птица – похожая на ласточку, но слишком большая. Птица смотрела на Богдана единственным глазом – второй был выбит в какой-то, видимо, схватке.

– Кыш, – в ужасе прошипел Богдан. И добавил, забыв, что птица не слышит: – Тебе на юг... Ноябрь на дворе... Убирайся!

Птица ударила крыльями по жести козырька под окном и улетела. Полный дурных предчувствий, Богдан стал собираться в университет; обнаружив на ковре под креслом синие колготки сына, испытал приступ раскаяния. Аккуратно сложил колготки, открыл комодик – и наткнулся на стопку альбомных листов: в последнее время Денис много и охотно рисовал, воспитатели в садике хвалили его за «развитие мелкой моторики правой руки»...

Богдан бездумно проглядывал рисунки, пока не наткнулся на один очень яркий, сделанный гуашью. На нем изображалась женщина в оранжево-синем клетчатом платье. Местами оранжевая и синяя краска слились, но в целом нарисовано аккуратно, как для трехлетки. Рядом на коричневом столике (толстая горизонтальная линия и две вертикальных) стоял зеленый круглый кактус в желтом горшке. Иголки понатыканы карандашом; в сторону от зеленого шара тянулась огромная фиолетовая труба, похожая на граммофонную.

У оранжево-синей женщины было узкое лицо, нос как у Бабы-Яги и длинный злой рот уголками книзу. В руке она держала прямоугольный предмет – сумку, чемодан или коробку.

Богдан подумал, что обязательно надо похвалить сына за этот рисунок. Или за какой-нибудь другой – но обязательно похвалить; он видит Дениса так редко, возвращается поздно, в субботу сидит в библиотеке... В воскресенье валяется в изнеможении на диване. По утрам, невыспавшийся и злой, кричит на ребенка всего-то за то, что малыш задумался над мыльной пеной в пригоршне...

Стало быть, в субботу – в зоопарк. Богдану стало легче. Он запер дверь, все еще пахнущую новым дерматином, с медным значком «8» (Люськина покупка и гордость), и отправился, почти веселый, на встречу с научным руководителем. Встреча намечалась еще две недели назад, но по множественным уважительным причинам откладывалась да откладывалась.

Екатерина Сергеевна восседала за профессорским столом. На краю стола стоял кактус, и фиолетовый цветок изгибался, как труба граммофона. Одного взгляда на лицо кураторши хватило, чтобы понять: похвалы не жди. Ноздри тонкого носа раздувались, тонкий рот изгибался уголками вниз. Екатерина Сергеевна говорила негромко, скупно, и все просчеты, допущенные Богданом, его недоработки и небрежности, подчеркнутые красным карандашом, ложились на стол одна за другой – серыми машинописными листами.

Последней легла пустая папка; Богдан смотрел, как беспомощно болтаются завязочки. Он не ждал разгрома, но беда заключалась в другом. На Екатерине Сергеевне был костюм в оранжево-синюю клеточку, не такой яркий, как на детском рисунке, но вполне узнаваемый.

– ...Одна радость – кактус расцвел, – сказала в заключение профессор, и ее тонкие губы наконец-то сложились в улыбку. – Идите, Донцов, и работайте. Я знала, что вы не хватаете звезд с неба... Но чтобы в такой степени! Идите.

* * *

Он вернулся домой, когда сын уже лег в кровать. Люська была не в духе; Богдан посидел над сопящим Денисом, но сын спал крепко и безмятежно – ни кошмарам, ни пророчествам не нашлось места в маленькой комнате с плотно занавешенным окном.

На ночь он выпил чуть не полфлакона валерьянки.

– Чем это воняет? – хмуро поинтересовалась Люська.

Богдан долго не мог уснуть, в полудреме читал какие-то стихи по незнакомой книге, успевал удивляться: что за строки? Неужели сам во сне придумал? А потом, провалившись окончательно, почувствовал запах гнилой картошки, очутился на ящике посреди овощебазы, а напротив, на другом ящике, сидел небритый старик, прикрывал нечистой ладонью выбитый глаз:

– Ходит за тобой... И ходит... Гляди...

– Кто ты? – спросил во сне Богдан.

– Игнатъич... – Старик вздохнул. – Через меня ты в это дело встрял... Гляди...

На другое утро Денис одевался вдвое дольше, чем обычно, но Богдан не проявил недовольства. Наоборот, сообщил, что в субботу они идут в зоопарк; малой развеселился. Завязывая шнурки на высоких ботинках сына, Богдан спросил как бы ненароком:

– А что за тетю ты нарисовал с кактусом?

Денис не сразу понял, о чем речь.

– Просто, – сообщил удивленно, когда Богдан сходил в комнату и принес рисунок. – Просто так. Красивая тетя.

– А где ты видел, что кактус цветет?

Денис засмеялся:

– Это краска размазалась!

* * *

Всю следующую неделю Денис рисовал зверей, а Богдан спал спокойно. Выпал и растаял первый снег. Ни черная птица, ни похожее на кота существо больше не мерещились. Он занимался диссером, и ничем другим.

В пятницу Люська попросила Богдана забрать малого из садика. Дождаясь, пока неторопливый Денис оденется, Богдан рассматривал пластилиновых мишек с бумажными ярлычками имен и подписанные шариковой ручкой гуашевые рисунки. Тема занятия была «Правила дорожного движения», на всех картинках имелись светофоры с глазками и ручками, дяди Степы в огромных фуражках, кое-где попадалось треугольное солнце в уголке листа и цветочки внизу. На рисунке Дениса, невнятном и довольно грязненьком, красовался самосвал и маленькая фигурка под огромными черными колесами.

– Деня... Что это?

– Это тетя, которая неправильно переходила дорогу, – очень серьезно сообщил художник. – Нам про такое рассказывали!

Молча проклиная дур-воспитательниц, запугивающих детей всякой ерундой, Богдан вывел сына во двор из пропахшего кашей коридора. Снова пошел снег и перестал; Денис медленно и обстоятельно рассказывал, что давали на обед, что на завтрак и что на ужин. Подходя к троллейбусной остановке, Богдан издали увидел толпу возле перехода; над толпой возвышался самосвал. Мигала синим милицейская машина, чуть поодаль стояла «Скорая помощь». Богдан сильнее сжал руку сына и потащил его прочь; во рту стоял отвратительный привкус. Взмokли ладони в перчатках из фальшивой кожи.

– ...какое там жива, пополам переехало... – донеслось от остановки, где судачили женщины.

Подошел троллейбус.

– Пропустите с ребенком! – рывкнул Богдан неожиданно грубо и, крепко прижав к себе пискнувшего Дениса, ввинтился в переполненные душевные недра.

* * *

– Ты ведь понимаешь, что это совпадение? – спросила Люська. – Ты огорчился из-за этой выдры Екатерины...

– Вот-вот, – подтвердил Богдан.

– А возле того перехода вечно всякая жуть. Дурное место. Месяц назад пацана сбили – перебежал...

Богдан тяжело вздохнул.

– Игнатич, – Люська поморщилась. – Кстати, я ту птицу видела. Сидела на мусорном баке.

– Да?!

– Явно не ворона... Хотя большая. У нас похожая в селе под крышей жила.

– У нее глаза нет.

– Насчет глаза я не заметила, издали смотрела... Но явно покалеченная, едва летает. Знаешь, часто бывает: подранки не улетают на зиму, а пристраиваются где-нибудь в городе. Надо подкормить.

– Люська, слушай, это та самая, что у нас под крышей...

– Ага. Прилетела за триста километров к тебе в гости. Как же.

Насмешливый Люськин тон привел Богдана в чувство. Но на Денискины рисунки он опасался смотреть еще долго – почти две недели.

* * *

Богдан сидел за работой, когда вернулись с прогулки Люська с Денисом. Люська держала санки, Денис – старое одеяльце, служившее подстилкой. С мокрых полозьев падали на линолеум снежные кляксы.

– Замерзли? – спросил Богдан, запирая дверь.

– Ага, – сказала Люська странным голосом. – Немножко...

И взялась расстегивать на Денисе шубку, но Богдан уже знал: что-то случилось.

– Да нет, – ответила Люська на взгляд мужа. – Ничего... так. Деня, иди мой ручки...

Прикрыла за сыном дверь ванной:

– Видели мы этого... кота. Деня испугался... А дворничиха говорит, он здесь во дворе... Короче, вроде бы он таксу съел из второго подъезда.

– Кот?!

– Они говорят «чернобыльский мутант». – Люська невесело усмехнулась. – Знаешь что? Позвоню-ка я в «будку». Пусть приедут, заберут его. На фига нам во дворе такая гадость?

* * *

«Будка», служба по отлову бродячих животных, никакого кота-мутанта во дворе не нашла, зато попыталась забрать двортерьера Булата из третьего подъезда. Случился скандал, чуть ли не драка, хозяйка Булата кричала в лицо Люське оскорбления, Богдан едва сумел раз-

решить дело миром – заплатил «будочникам», и те убрались пустые. Китайский шарпей Бернард, пес соседа-прокурора, скалил вослед живодерам зубы и глухо рычал. Он ничем не рисковал: прокурорских шарпеев никто не отлавливал – себе дороже.

Люська долго плакала на кухне, Богдан утешал ее и не знал, как утешить. Наконец в час ночи улеглись; в пять утра Богдан вышел на кухню попить водички и, глянув в окно, увидел под единственным фонарем во дворе огромную тварь со стоящей дыбом шерстью...

Мигнул – чудовища как не бывало.

* * *

– Что это?

Богдан держал в руках новый рисунок Дениса, выпавший из-за неплотно прикрытой дверцы письменного стола. На рисунке были люди с круглыми головами, круглыми животами, с наведенными черной краской руками и ногами – много людей; некоторые сжимали в руках большие черные ножи размером с хорошую саблю. Люди стояли плечом к плечу, а в центре композиции помещался хиленький человечек в треугольном зеленом пальто и круглой шляпе. Руки человечка торчали в стороны – на каждой по пять длинных пальцев.

– Что это, Деня?

– Просто так, – уклончиво ответил сын. – Хулиганы.

– А в середине?

Сын пожал плечами.

– Это не я случайно? – осторожно спросил Богдан. – В зеленом пальто?

– Может, и ты, – пробормотал Денис, глядя в сторону.

* * *

Одноглазый старик сидел на покосившемся ящике из-под овощей. На темной морщинистой ладони лежала картофелина – чистая, золотисто-коричневая, будто светящаяся изнутри.

– Лопату найди, – говорил старик. – Найди лопату.

За штабелями ящиков, за горами мешков с гнилой картошкой ходили на мягких лапах. Смотрели глазами-щелками, разевали вертикальные челюсти. Поскрипывал ветер:

– Заплатишь...

– Лопату найди! – повторял старик, заглядывая Богдану в лицо почти с отчаянием. – В лопате твое спасение...

* * *

Когда первый из них, весь какой-то мутный и вихляющийся, вынырнул из подъезда и заступил Богдану дорогу, тот уже знал, чего ждать, и побежал, не медля ни секунды.

Судя по множественному топоту и мату, за ним погнались человек пять, не меньше. Вокруг не было ни души, фонари не горели, Богдан бежал, боясь одного – выронить папку с диссером. Преследователи, вместо того чтобы разочароваться и отстать, с каждой секундой преисполнялись азартом:

– Стой, сука!

Богдан споткнулся и все-таки упал. Вокруг захлюпали по грязи ботинки, кто-то торжествуя пнул его в бок...

– А-а-а! – распахнулось окно, стукнула рама. – Убивают! Батюшки! Милиция!

Неподалеку басовито залаял пес. Богдана пнули напоследок – и хлопанье быстрых шагов отдалилось, затюкало по бетонной дорожке, потом по асфальту, потом стихло...

Рядом стоял сосед с догом. Вернее, сосед стоял, а дог описывал вокруг взволнованные круги.

– Бодя? Ты?

Женщина в окне матерно грозила «этим гадам» всеми возможными карами. Богдан поднялся, прижимая к груди папку с диссером.

– С-спасибо...

...Пальто пропало. Ничего страшного: и Богдан, и Люська понимали, что могло кончиться куда хуже.

* * *

В хозяйственном магазине стоял плотный химический запах. Богдан долго и бесцельно разглядывал тяпки без рукояток, грабли, жестяные лейки, пакетики с удобрениями; на толстой картонке лежала лопата. Темная, со светло-стальным ободком вокруг острия, еще ни разу не пробовавшая земли, она казалась не мирным инвентарем, но орудием убийства. Богдан смотрел на лопату третий день подряд; купить ее означало признать себя сумасшедшим. Не купить – отказаться от последнего оружия в борьбе со взбесившейся судьбой.

– Что вы все смотрите? – удивилась толстая продавщица. – Берите, пока есть. Сталь хорошая. Держачок вам подберем.

– Дорого, – сказал Богдан, ощупывая в кармане сумки ворох бумажных купонов. От портмоне пришлось отказаться – во-первых, их немилосердно воровали, во-вторых, такая масса денег не помещалась ни в один кошелек.

– Весной подорожает! Да еще и не будет, все разгребут под сезон... Берите!

«Лопата тебя спасет», – Богдан вспомнил и содрогнулся. Зачем лопата? Уж не могилу ли себе копать?!

– Мне не надо, – сообщил он разочарованной продавщице. – Дачу-то продали...

Повернулся и пошел к двери.

* * *

В четверг, забирая Дениса из садика, Богдан первым делом ринулся к выставке рисунков. Тема была «Сказки»; не глядя на работы прочих детей, он жадно отыскивал надпись «Донцов» на обороте...

На сей раз Денису рисунок явно удался: клякс почти не было. Посреди листа имелся вертикальный коричневый столб, от столба в разные стороны тянулась желтая цепь из неровных звеньев; справа цепь заканчивалась уже знакомой тщедушной фигуркой: круглоголовый человечек вместо треугольного пальто был облачен теперь в квадратную черную куртку. Всю левую сторону листа занимал бурый силуэт с острыми ушами и толстым хвостом до самого неба.

– Что это? – спросил, обмирая, Богдан. – Это... кот?

– Кот научный, – радостно подтвердил Денис. – То есть ученый.

– А это кто? Александр Сергеевич Пушкин? – Богдан указал на фигурку в правом углу листа.

– Нет. – Денис скромно потупился. – Это ты.

* * *

– Зачем? – устало удивилась Люська.

Богдан не нашелся, что ответить. Приближался Новый год, а сбережения семьи, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

– Она дешевая, – соврал он, оправдываясь.

Люська ничего не сказала. Уселась перед телевизором с чашкой чая на блюде.

Богдан опустил на корточки и высвободил лопату из мешка. «Острая, – говорили в магазине, – в транспорте осторожнее...» Рукоятка была слишком свежая, слишком чистая; острие поблескивало тускло и хищно, и почему-то сам вид заостренной лопаты вдруг совершенно успокоил Богдана.

Пусть приходит, подумал удовлетворенно. Кот-мутант, или кто он там...

Люська тупо смотрела на экран. Богдан понимал, что она не видит и не слышит событий «Санта-Барбары», что нервозность последних месяцев скоро доведет жену до срыва, что надо объясниться – или покаяться, что одно и то же...

Он снова оделся и вышел во двор с лопатой в руках. Остановился посреди палисадника; здесь проходила теплотрасса, снег проседал, а земля не твердела. Сам не понимая зачем, Богдан налег на заступ – мышцы вдруг вспомнили август, огород, он был почти уверен, что в ямке обнаружится картофельный клубень.

Нагнулся. Протянул руку и нащупал под сталью лопаты, под снегом и мокрой землей – влажную шероховатую картофелину.

Вытащил.

Это оказался круглый комок глины.

* * *

Новый год встретили дома, по-семейному, тихо и скромно.

Денис заболел, и две недели Богдан и Люська занимались исключительно врачами, компрессами, жаропонижающими таблетками и чаем с малиной.

Лопата стояла в кладовой. На лезвии высыхал комочек земли из палисадника.

Денис выздоровел. Убрали елку и стали ждать весну. Екатерина Сергеевна наконец-то сменила гнев на милость – в последнюю встречу с руководителем Богдан удостоился двух-трех ободряющих слов.

В воскресенье – перед тем как после долгого перерыва отправиться в садик – Денис потребовал чистой бумаги. Ему, видите ли, захотелось рисовать. Люська полезла в стол за альбомными листами, но Богдан, прибежав из кухни с чашкой кефира в руке, заявил, что хочет почитать Денису сказку. Спеть ему песенку. Показать кукольный театр. Именно сейчас.

И полдня, позабыв о своих книгах, возился с сыном. Собственноручно выкупал его в ванной и уложил спать; краски так и остались стоять на столе рядом с чистым листом из альбома.

* * *

Утром он не помнил своего сна, но в том, что это был кошмар, сомневаться не приходилось.

– Что с тобой? – спросила Люська, увидев лицо мужа.

– Дрянь какая-то снилась. – Богдан помотал головой.

– Перемена атмосферного давления, – неуверенно пробормотала Люська, и Богдан кивнул:

– Наверное...

За Люськой и Денисом закрылась дверь. Богдан побрел на кухню доедать завтрак. Снаружи, на жестяном козырьке окна, сидела большая птица, похожая на ласточку. Смотрела на Богдана единственным глазом. Била крыльями, смахивала с козырька комочки примерзшего снега.

У третьего подъезда стояла черная крышка гроба – ветер вяло теребил широкое кружево. Богдан вспомнил, что умер старичок – хозяин таксы, тот самый, что каждое утро выгуливал ее в оранжевом, на меху, пальтишке...

Темными тенями сновали люди. Хлопали двери подъездов.

Богдан задернул шторы. Позвонил на работу и сказал, что болен. Позвонил приятелю, с которым должен был встретиться в библиотеке, и отменил встречу.

Он вспомнил, что ему снилось. Овощная база, только напротив, на покосившемся ящике, никто не сидел. Кто-то смотрел в спину, все время в спину.

– Жди... Сегодня... Жди...

Там, во сне, Богдан вертелся волчком, ожидая нападения, сжимая в руках...

Он открыл кладовку и вытащил лопату. Ногтем счистил прилипшую грязь.

* * *

В полпятого позвонила озабоченная Люська. У нее заболела мама – Люська собиралась сегодня ночевать у больной, прихватив с собой и Дениса.

– Ты-то как? – спрашивала Люська сквозь треск в телефонной трубке. – Пришел в себя?

– Совершенно, – отрапортовал Богдан.

В шесть часов стемнело.

В девять единственный фонарь посреди двора замигал и погас.

Воздух наполнился весной и жутью. В небе, широко раскинувшись, мерцало созвездие Ориона.

В полдвенадцатого, когда почти все окна в доме погасли, Богдан взял лопату и вышел во двор. Минут пятнадцать он был очень храбр – расхаживал взад-вперед по асфальтовой дорожке, думал о Люське и о Денисе. Пора прекратить весь этот кошмар. Пусть ребенок рисует что хочет. Пусть Люська наконец перестанет хлестать валерьянку на ночь...

Потом звезды съжились и потускнели. И Богданова храбрость съжилась тоже; он завертелся волчком, как тогда, во сне, поспешно отступил к подъезду. Будить соседей, бежать домой, вызывать милицию...

Темная тень вынырнула из-за мусорных баков. Богдан отшатнулся, выставив перед собой лопату; в этот момент единственный фонарь во дворе опять вспыхнул.

Свет упал на морду с вертикальными челюстями.

Угрожая лопатой, Богдан пятился и пятился к подъезду, молча умоляя хоть кого-нибудь проснуться и подойти к окну, крикнуть, хотя бы завизжать...

«В лопате твое спасение...»

Проклятый дом, проклятый огород, проклятая картошка...

Картошка...

Он вспомнил – клубень в руках, картофелина, летящая в страшную морду. Искры.

Не сводя глаз с ужаса, который смотрел на него, Богдан трясущимися руками опустил свое оружие. Мышцы напомнили, что делать; Богдан налег на лопату, она вошла в грунт без особенного усилия. Чудовище припало к земле, прижало уши, хлестануло по бокам хвостом; Богдан, не отводя глаз, нагнулся и нащупал в ямке – картофелину.

Она была крупная и гладкая, с тремя или четырьмя глазками. Она была теплая. Она светилась золотисто-коричневым светом.

Чудовище взревело, отталкиваясь от мокрого асфальта; Богдан размахнулся и запустил в него картофелиной – прямо в морду.

Взрыв.

* * *

– Что с тобой? – спросила Люська, увидев его лицо.

Денис сопел на кровати, натягивая колготки. Было серое утро; на письменном столе стояли баночки гуашевой краски и лежал нетронутый листок бумаги.

– Дрянь какая-то снилась. – Богдан помотал головой.

– Перемена атмосферного давления.

– Наверное...

За окном едва светало. Во дворе громко ругалась дворничиха. Богдан выглянул; дворничиха изливала душу старичку из третьего подъезда. У ног старичка вертелась такса – мерзла, несмотря на оранжевое пальтишко.

– Осторожнее, – сказал Богдан, выпуская жену и сына на лестничную площадку. И зачем-то уточнил: – Скользко...

– Ага, – улыбнулась Люська. – Не волнуйся.

Выглядывая из форточки, он смотрел, как они идут через двор. Мимо ямы на асфальтовой дорожке – глубокой, но неширокой. Не шире лезвия лопаты.

– Санэпидстанцию вызову! – угрожала дворничиха неизвестно кому. – А вдруг оно заразное? А вдруг оно здесь расплодилось? Вот, полюбуйся!

И указала Люське на мусорный бак, где на куче хлама лежала, по-видимому, пададь. Люська только глянула – отпрянула и поскорее потащила Дениса прочь. Перед тем как завернуть за угол, она остановилась и посмотрела на окно кухни. Встретилась взглядом с Богданом.

Взгляд протянулся между ними, как ниточка.

И Люська улыбнулась.



Оборотень в погонах

Дежурство выдалось спокойным, что в неотложке – большая редкость.

К обеду доставили лишь одного пьянчужку с кашей вместо физиономии. Двое приятелей страдальца маялись в коридоре, чуя за собой вину. «Лицевые кости целы, зубы потом вставит сам, если захочет. Зашить бровь и отзвониться Егорычу, во избежание», – наметанным глазом определил Величко.

Егорыч, дежурный мент, дремал в своей каптерке как раз для таких случаев.

Наложив швы, доктор вызвал покаянных дружков в кабинет. Задавая стандартные вопросы, быстро, но без лишней спешки заполнил все необходимые бланки. Егорычу звонить не понадобилось: вся троица хором утверждала, что «Митяй с лестницы навернулся». Громче всех версию падения отстаивал потерпевший, плямкая губами, распухшими до размера оладий. Ладно, с лестницы – значит, с лестницы. Меньше волокиты. Отослав компанию восвояси, Величко выглянул в окно. Новых машин у входа в приемный покой не объявилось. Прислушался. В коридоре царила тишина.

Ну и хорошо. «Час пик» начнется позже.

Александр Павлович откинулся на спинку жесткого стула. Не глядя, нашарил фаянсовую кружку с отбитой ручкой, хлебнул остывшего чая и развернул купленную по дороге газету. «Курьер» раскрылся на 12-й странице. «Тайны рынка на обочине», интервью с какой-то Гели Реф, насквозь желтое, как молодой одуванчик. Быстро разочаровавшись в рыночных тайнах и пижонстве хамоватой Гели, доктор перелистнул страницу. «Криминальная хроника». Взгляд сразу привлекла фотография в центре. Серая, мутноватая, явно со служебного удостоверения. Впрочем, не узнать молоденького лопухого лейтенантика, изображенного на фото, было невозможно.

«ФИНАЛ ОСЕННЕГО ЛЮДОЕДА» – гласил заголовок.

Ниже, шрифтом, похожим на стилизованную готику, размещался подзаголовок: «Любимый город может спать спокойно». И собственно сама статья: «Кровавым ужасам, терроризирующим население с прошлой осени, пришел конец. Дарья Климец, студентка пищевого техникума, выжила чудом. Насильственным путем оказавшись в Осиновке, на территории „Dinastia Bradley“, питомника доберманов и минпинов цвергпинчеров, девушка и не предполагала...»

Буквы на миг смешались, поплыли. Величко невольно моргнул – раз, другой, – и память, решительно ухватив доктора за шиворот, отшвырнула его на два с лишним месяца назад.

Сюда же, в первый корпус неотложки.

Только не в приемный покой, а в родной кабинет на втором этаже.

* * *

– ...Разрешите?

«Опять ЧП», – тяжело вздохнул Величко, глядя на щуплого «летеху» в милицейской форме, с бляхой ГАИ на груди. Из всего облика мента в первую очередь обращали на себя внимание уши – оттопыренные, мальчишеские, пунцовые от волнения. Лопух нервно мял в руках новенькую фуражку.

– Входите. Что случилось?

«Вот такой шкет меня в четверг на червонец нагрел», – подумал Величко. Червонца было жалко. Забыл вроде, а сейчас опять пожалел. И клятва Гиппократы не помогает.

– Лейтенант Сиромеха, – по-уставному представился посетитель, старательно закрывая за собой дверь. – Я к вам, Александр Павлович. Мне необходима операция.

– Операция? Срочная?

Лейтенант замялся:

– Ну, не то чтобы срочная... Но хотелось бы поскорее.

– Если вы не в курсе, молодой человек, у нас тут Институт неотложной хирургии. Подчеркиваю: неотложной. Может, вам лучше обратиться в вашу ведомственную клинику? Или в районную больницу по месту жительства? Если, конечно, нет денег на платную, – мстительно добавил Величко, вспоминая злополучный червонец.

– Я понимаю, доктор. Только... Я специально к вам пришел, лично.

– Именно ко мне? Из каких соображений, позвольте спросить?

Величко слегка приподнял брови. Хирургом он считался неплохим, опытным и удачливым, но в числе «светил» никогда не значился. И в очередь к нему клиенты не записывались. Особенно работники доблестных органов, которые к своим собственным внутренним органам относились с исключительным трепетом.

– Мне брат о вас рассказывал. Двоюродный. Николай Курсак. Помните? Он на стройке работал, монтажником. Жилой комплекс «Олимп», элитные дома. Ну вы должны помнить...

– В каком смысле – «работал»? Больше не работает, что ли?

Величко очень не любил вот такие значащие оговорки.

– Еще как работает, что вы! Он в марте с лесов сорвался, так вы его едва не из кусочков собрали. Сейчас жив-здоров, снова на верхотуре трудится. Привет вам от него и спасибо огромное!

– Рад, что у вашего брата все в порядке.

– Вот я и подумал: если вы Колю с того света за уши вытащили, глядишь, и мне поможет...

– А вы уверены, что вам нужна операция?

– Да! Честное слово, доктор, очень нужна!

– Какая именно? К другим врачам вы обращались? Диагноз вам поставили?

С минуту лейтенант молчал, морща лоб и раскладывая в голове вопросы «по полочкам». Сразу видно, серьезный юноша. Обстоятельный. Остановит такой машину, козырнет и давай докапываться...

– Насчет операции – уверен. Какая именно – это вам виднее, вы же доктор. К другим врачам не обращался. А диагноз я и сам знаю. Чего там сложного?

Александр Павлович едва удержался от скептической улыбки:

– И каков же диагноз?

Сиромеха замялся, глядя в пол. Уши его только что не дымились.

– Я...

Он с видимым усилием поднял взгляд и посмотрел Величко в глаза.

– Я это... Оборотень я, доктор!

«Вам, батенька, не к хирургу надо, а к психиатру!» – Александр Павлович разом простил бедняге все червонцы на свете. Видимо, мысль эта слишком явно отразилась на лице врача. Лейтенант заторопился, зачастил, опасаясь, что его сейчас выставят за дверь. Или санитаров из дурки вызовут.

– Я понимаю, доктор, звучит как бред. Но я не псих! Я могу доказать... Показать! Хотите? Я могу прямо сейчас! В кабинете!

Сказать по чести, Александр Павлович растерялся. Ситуация складывалась, мягко говоря, неординарная. А ну как этот «оборотень в погонах» начнет с рычанием метаться по кабинету, брызжа пеной изо рта? И в итоге набросится на скромного доктора Величко, чтоб наверняка разодрать в клочья все сомнения?

Что делать?

Постараться успокоить пациента, пока не поздно? Ретироваться из кабинета? Позвать на помощь коллег?

Тем временем Сиромаха уже деловито раздевался, бубня:

– Вы не бойтесь, я не кусаюсь. Я, когда животное, все помню. Без этих самых... антисоциальных проявлений. Соображаю, правда, туго. Это в полнолуние у меня крышу рвет... Я форму на вешалку повешу, ладно?

Доктор машинально кивнул, чувствуя себя соучастником группового психоза.

– Вы не думайте, я не просто так раздеваюсь. Когда обратно человеком делаюсь – то в одежде, то голый, то серединка на половинку. Или порвано на мне все. А форму жалко, она новая...

Голый, он выглядел совсем жалким. Тощий, ребра торчат. И срам ладошкой прикрывает, будто забыл, что стоит перед врачом. Величко незаметно протянул руку к телефону, плохо соображая, кому и как будет звонить. Алло, милиция, у меня ваш коллега из ГАИ, он решил обернуться...

– Ну, с богом! – совсем уж невпопад выкрикнул Сиромаха.

Он упал на пол на четвереньки, и у хирурга перехватило дыхание. Казалось, лейтенант разом вывернулся из всех своих суставов. Груда на полу приняла чудовищную, невообразимую форму, напоминая саранчу-гиганта; отовсюду торчали мослы, шевелясь и дергаясь. Невидимые пальцы уминали чудовище, лепили заново, что-то отрывая и прикрепляя в другом месте, что-то переделывая на ходу, согласно задумке безумца-вивисектора. Откуда-то из движения и хруста вынырнула знакомая голова: вразной-о! тряслись пунцовые уши, заостряясь и обрастая пегими волосами. «Больно, доктор... бо-о-о...» – сдавленный стон перешел в еле слышный скулеж. От живого кошмара текли струйки пара, обволакивая жертву; пар наполнился мутными, грязно-серыми прожилками, похожими на шерсть.

Бывший гайшник Сиромаха вдруг вывернулся наизнанку и встал перед Величко.

На четыре крепкие лапы.

До сегодняшнего момента Александр Павлович считал себя здравомыслящим человеком с крепкими нервами. Но сейчас, под взглядом здорового волчары, здравый смысл куда-то улетучился, а крепость нервов сдалась без боя.

«Добрый доктор Айболит... приходи к нему лечиться и корова, и волчица...»

Волк склонил голову набок, изучая человека, замершего в столбняке. Оскалился, обнажив изрядные клыки. Оскал вышел нестрашным и обидным. «Это он надо мной потешается!» Хирургу стало неприятно, и еще опять вспомнился утраченный червонец. Такое бывает при нервном стрессе. Волк тем временем лениво кружил по кабинету, давая себя разглядеть как следует. С откровенной наглостью мазнул лапой по стене, оставив на штукатурке глубокие царапины от когтей. Резко прынул к столу, оперся передними лапами о столешницу. Сунулся мордой в лицо Величко: «Теперь веришь?!» Упал на спину, стал кататься по линолеуму, повизгивая; визг делался ниже тембром, опять превращаясь в стон. Чьи-то руки принялись быстро выворачивать зверя обратно, уминать, лепить, дергать и скреплять...

В такие минуты мысли в голове человека движутся странными и совершенно непредсказуемыми путями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первой фразой, вырвавшейся у доктора, когда с пола поднялся голый лейтенант, было:

– Ну хорошо, а стену вы зачем поцарапали?!

– Для вещественного доказательства, – уныло сообщил пациент, одеваясь. – Иначе вы решите, что вам все привиделось.

Доктор лихорадочно пытался убедить себя: галлюцинация, гипноз, временное помрачение рассудка! Получалось скверно. Взгляд всякий раз возвращался к свежим царапинам на штукатурке и столешнице. «Вещественное доказательство» с упрямством прокурора говорило об обратном. Или тоже – гипноз? А что тогда реальность?

«Если это виртуозный розыгрыш, – Александр Павлович хватался за соломинку, чувствуя хрупкость опоры и не видя другого варианта, – будем считать, что я поверил. В крайнем

случае, выставит меня дураком». Величко даже слегка успокоился, насколько это было вообще возможно в подобной ситуации.

– Хорошо, молодой человек. Убедили. Но от меня вы чего хотите? Ну, священник, экзорцист... или кто там по соответствующей части?.. Дрессировщик, наконец. Хирург-то вам зачем понадобился?!

– Достало! Нормальным быть хочу. Человеком жить. До капитана дослужиться. Как минимум. А чтоб капитан по ночам волком бегал – это вообще не пойми что...

«Значит, лейтенанту волком бегать еще туда-сюда. А вот капитану – никак не положено! Любопытная логика...»

– ...держусь пока, никого не тронул. А вдруг сорвусь однажды? Блох полную квартиру нанес, жителя от них, сволочей, нету... Первый раз? Первый раз в армии случилось. Ни черта не запомнил: что творил, куда бегал... Вроде съел кого-то. Зайца, наверное. Или крысу. Ну да, в сыром виде. Вкусно было. После армейских харчей крыса мамкиной котлетой покажется. Утром очнулся за «колючкой», снаружи. Форма – в клочья. Упекли «на губу» – за «самоход», пьянку и порчу казенного имущества... Конечно, пьянку! Кто б поверил, что я трезвый? Месяц из нарядов не вылазил. Дальше приспособился, втихую гулял. Отъедался с голодухи. Как дембельнулся, решил в кино пойти. Артистом. Думал, меня киношники с руками и ногами... Почему не пошел? Доктор, вы прямо как маленький! Ой, извините... Смекнул, к счастью: «безопасы» меня у киношников сразу отберут. Засекретят, на анализы изведут. Или в клетку засадят, опыты ставить...

«Не надо сгущать краски, молодой человек!» – хотел было возразить хирург, но вовремя прикусил язык. Прав лейтенант. В подопытные кролики никому не хочется. Даже если ты не кролик, а волк.

– ...школу ГАИ закончил. Вот, служу. Чтоб дежурство в ночь, да еще на полнолуние выпадало – такое редко случается. А если выпадет – махнусь с кем-нибудь, и всех дел. Уйду к вечеру за город, одежду припрячу... Место запоминать не надо: волком я его враз по нюху найду. Ну и гасаю вволю до рассвета. Это уже после страх накатывает. Боюсь навсегда остаться... – ...Нет, в семье ничего такого не было. Уверен. Говорят, года в четыре покусали меня сильно. Уколы потом кололи от бешенства. Обошлось. Кто покусал? Не помню. Я себя лет до пяти вообще не помню. Почему только в армии проявилось? А я откуда знаю? Может, с голодухи? Или съел чего-нибудь? Нас там таким кормили...

– ...Операция? А как еще? Таблеток от этого нету. Я всякие пробовал. Не помогает. Какие? Ну, аспирин там, снотворное, потом от аллергии... эти, как их... супрастин, вот! Фталазол, бисептол... антибиотики колол... Доктор, я вас очень прошу! Может, у меня внутри что-то такое есть, чтоб отрезать – и стану нормальным. Ну должно же там что-то быть, верно?!

Величко представил, как заводит на Сиромаху карточку и записывает в нее: «Диагноз: ликантропия. Рекомендованное лечение: апендэктомия, резекция прямой кишки. Госпитализация в течение 45 дней, до прохождения двух полнолуний. Физраствор, капельница. Транквилизаторы внутривенно, душ Шарко – раз в два дня, ультрафиолет – ежедневно 15 мин.».

Пора сдаваться психиатрам. На пару с лейтенантом.

А пациент сидел и ждал, с надеждой глядя на врача. Наивный лопухий мальчишка, явившийся со своей бедой в неотложку. Что ж, бред так бред. Будем работать по законам бреда. Вряд ли хирург Величко сумеет помочь оборотню-гаишнику. Но он обязан хотя бы попытаться.

– Должен сразу предупредить: ваш случай – уникальный. Ни с чем подобным медицина еще не сталкивалась.

– Я понимаю, доктор...

Понимает он! Хорошо б и доктору хоть что-то понимать!

– Успеха не гарантирую, но...

– Спасибо, доктор!

– Пока не за что. Сейчас я вам выпишу направления на клинический анализ крови, анализ мочи, рентген, флюорографию, УЗИ... Надо получить по возможности полную картину состояния вашего организма, прежде чем принимать решения.

– Да-да, я понимаю...

Ну вот, опять! Надо же, какой понятливый пациент попался!

Когда лейтенант покинул кабинет, унося целый ворох направлений на анализы, Величко минут десять сидел в полной прострации. До тех пор, пока его не укусила блоха, непонятно откуда взявшаяся в кабинете. Тогда Александр Павлович решительно отправился к коллеге Фельдману, напомнил про старый должок, потребовал открыть закрома и залпом выпил «сотку» чистого спирта.

Без закуски.

Разумеется, анализы ничего не дали. Мелкие отклонения – в пределах нормы, никаких злокачественных образований, изменений во внутренних органах, деформаций костей; кровь – самая обычная, вторая группа, резус отрицательный.

Все как у людей.

Показаний к операционному вмешательству нет.

О чем доктор и сообщил огорченному лейтенанту, когда тот заявился через две недели. Впервые Александр Павлович видел человека, убитого известием, что он абсолютно здоров.

– Голубчик, поймите! У вас попросту нечего «отрезать», как вы изволили выразиться. Не стану же я удалять здоровый орган, в самом деле?! Да и какой именно? Если хотите, могу дать направление на обследование в институт эндокринологии. Однако, боюсь, это пустая трата времени. В конце концов, вы ведь живете с этим уже не первый год? Вот и живите дальше! Попробуйте найти какие-то положительные стороны в вашей... э-э-э... способности!

– Какие, например? Служебно-разыскной собакой подрабатывать? На полставки, по совместительству? – мрачно буркнул оборотень. – Или в питомник наймусь, производителем... – Вот видите, вы вполне способны отнестись к своему положению с юмором. Выходит, не все так плохо, верно? – как маленького, продолжал уговаривать его Александр Павлович. Еще недавно хирург и представить не мог себя в роли психотерапевта для лопоухого вовкулака. – Выше голову, лейтенант! У вас целая жизнь впереди. Вы еще дослужитесь не то что до капитана – до майора! До полковника!..

– Вы думаете? – расцвел Сиромеха.

– Уверен!

Когда лейтенант ушел, Величко снова отправился за спиртом к коллеге Фельдману.

* * *

Наскоро проглядев статью, доктор поднялся и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. На скользком кафеле он оступился, едва не упав.

– Осторожней, Александр Павлович! – сунулся из каптерки бдительный мент Егорыч. – Нюрка пол вымыла с порошком. Тут расшибиться – раз плюнуть! Сколько я ей говорил, чистюле...

Зоркое око Егорыча заметило свежий «Курьер» в руке Величко.

– Читали уже? Про нашего орла?

– Краем глаза...

– Ну, журналюги нарушили малость, а так – правильно все. Собакам – собачья смерть! Эти ублюдки не просто же девок насильничали, гады: убивали и ели! Вот скажите, доктор, – разве это люди?

– Нет, Клим Егорович, не люди. И не звери. Хуже.

– Верно! Тем доберманам, что их в куски порвали, надо премию выдать. Есть все-таки Бог на свете! Хоть я и неверующий...

Егорыч от возбуждения по-детски шмыгнул носом.

– Доберманам – премию, а Сиромaxe – медаль! Орден! В одиночку, раненый, вел преследование... двоих отморозков в питомник загнал... Читали? Там, в газете, черным по белому написано: представлен, мол, к внеочередному званию. За проявленные мужество и героизм. Капитана дадут. А орден заживят, начальнички. Я в органах тридцать лет отслужил, знаю, что говорю. Вы к нему небось? От меня привет передайте. А я тут покараулю. Если привезут кого – кликну. Не беспокойтесь...

Стараясь снова не поскользнуться на полу, сверкающем стерильной чистотой, доктор направился к лестнице. Поднялся на второй этаж. Седьмая палата. Одиночная.

– Добрый день. Как наше самочувствие?

– Спасибо, доктор. Намного лучше.

– Ну и славно. На вас, молодой человек, извините, все как на собаке зарастает.

Оба – и больной, и врач – хором рассмеялись, словно Величко бог весть как удачно пошутит.

Это случилось во время ночного дежурства. Залатав очередного бузотера, которого любимая жена приласкала утюгом, Александр Павлович вышел на крыльцо перекурить. В тусклом электрическом свете ему почудилось шевеление у ступенек. Когда он с трудом поднял на руки серого зверя – окровавленного, изломанного, едва живого, – тот еле слышно заскулил. Этот скулеж Величко узнал бы из тысячи. «Да в нем ни одной кости целой нет!» – с ужасом подумал хирург. Рядом валялись обрывки милицейской формы, разряженный пистолет и нелепая, смешная бляха ГАИ.

– Куда вы его?! Это в ветеринарную... – заикнулась было дежурная медсестра Людочка, но Александр Павлович хищно оскалился на нее, и медсестра осеклась.

– Готовьте стол! Наркоз. Инструменты. Быстро!

Превращение он пропустил. Отошел к умывальнику, вернулся, а на столе уже лежал Сиромaxe. Губы лейтенанта, запекшиеся, растресканные губы кривила судорога.

– Там Дашка... в машине... Я увидел!.. В одной школе... учились...

– Помолчите! Вам нельзя разговаривать!

Но лейтенант его не слышал.

– Тормознуть... хотел... Сбили... Я догнал... А они опять... Я догоняю, они сбивают... стрелять начал... по колесам... Ее зацепить... боялся!.. Занесло... Прямо в питомник... Собаки лают...

Внезапно Сиромaxe открыл глаза. Осмысленно, жестко посмотрел на доктора.

– Она... жива?!

– Жива, жива! – буркнул хирург, понятия не имея, о ком говорит лейтенант. – А теперь извольте замолчать. Сестра, наркоз! Нет, анестезиолога вызывать не надо. Я сам...

К счастью, Людочка оказалась не из болтливых.

– А я зашел вас порадовать. Вот, читайте. Тут про вас. Читайте, читайте, я подожду. Егорыч уверен: капитана дадут. Вы ведь хотели до капитана дослужиться?.. Ладно, ладно, не буду мешать.

Когда лейтенант отложил газету, знаменитые уши его горели полковым знаменем.

– Спасибо, доктор! Я теперь мигом на поправку пойду. Знаете, как охота капитанские погоны примерить?

– Знаю, – улыбнулся Величко, майор медицинской службы запаса.

Сборы он ненавидел всеми фибрами души.

– И вот еще, доктор. Я тут лежал, думал. Хорошо, что вы мне ничего тогда не отрезали. Иначе в газете, в конце, сейчас бы еще одно слово стояло. Догадываетесь какое?

– Какое?

– «Посмертно». А так...

– Можно?

В приоткрытую дверь заглядывала симпатичная девушка в белом халатике. Сперва Величко принял ее за медсестру, но секундой позже узнал. Спасенная Даша Климец, студентка пищевого техникума. Бывшая одноклассница Сиромахи. Каждый день сюда приходит. Сколько ее выставлять пытались – бесполезно.

– Ой, доктор, извините...

– Ничего. Обождите пару минут.

Девушка благодарно закивала, исчезая.

– Ну ладно, молодой человек, выздоравливайте. На свадьбу пригласить не забудете, а? Получите капитана – самое время жениться! Тем более невеста в наличии...

С удовольствием пронаблюдав, как торчащие из-под повязки уши вовкулака сменили цвет с пунцового на багряный, Александр Павлович покинул палату.

Во дворе дома, где жил Величко, сосед Рахович, полковник в отставке, выгуливал своего ротвейлера Дика. Маленький, с цыплячьей грудкой, всегда в туфлях на высоком каблуке, Рахович страдал запущенным «комплексом Наполеона». Став из военного штатским, он утратил единственную возможность командовать и компенсировал потерю чудовищной склонностью. Из его писем в инстанции можно было сложить вторую пирамиду Хеопса, а из жалоб на неподобающее поведение жильцов – новую Эйфелеву башню. Собак он держал неизменно, отдавая предпочтение ротвейлерам, хвост им рубить отказывался из соображений, интересных разве что психиатрам, и втайне радовался, когда псы игнорировали хозяйские призывы к благоразумию.

Злобный цербер лишь однажды получил должный отпор. Прошлой зимой добродушный китайский шарпей Бернارد, принадлежавший бывшему прокурору города, вдруг вспомнил, что шарпеи – бойцовая порода, и показал Дику такое кунг-фу, что потом ветеринары только диву давались. Впрочем, Дику урок не пошел впрок.

– Осторожно! – зывал Рахович на весь подъезд, открывая дверь квартиры. – Мы идем гулять!

«Кто не спрятался, я не виноват!» – внятно откликалось эхо.

– Маня! Петька, стервец! Наташенька! Бегите на улицу, генералиссимусу на двор приспичило! – кричали бабушки и дедушки из окон, предупреждая внучат.

Старики правильно понимали жизнь.

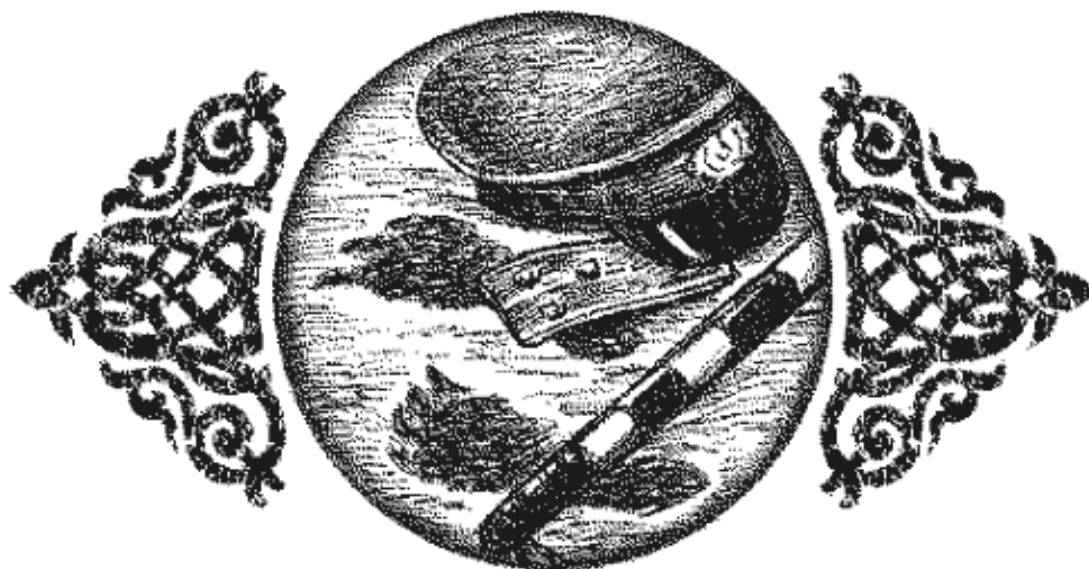
Вот и сейчас при виде Величко, идущего через пустынный двор, ротвейлер встал на дыбы, натягивая поводок. Полковник волочился за рычащим кобелем, делая вид, будто старается бросить якорь. От высоких каблуков на земле оставались бороздки.

– Альтсандр Палыч! – блажил он, тщетно пытаясь скрыть удовольствие. – Палыч, чтоб тебя! Иди быстрее, я его не удержу, зверя!

В первый раз за всю жизнь Величко нарочно замедлил шаг. И, когда оскаленная морда Дика оказалась совсем рядом, присел на корточки, заглядывая в кровавые глаза собаки.

– У меня один пациент есть, – внятно сказал доктор, не повышая голоса. – Очень славный пациент. Я его попрошу, он тебя, шавку лишайную, на куски порвет. Понял?

Соседи в окнах еле удержались от аплодисментов, видя, как ротвейлер, поджав необрубленный хвост, пятится от доброго доктора.



Пентакль страстей II



Пентакли, динарии, звезды, монеты,
Вселенная – город, а люди – планеты,
Свернешь за аптекой, а улицы нету —
Исчезла, свернулась в клубок.

По позднему мраку, по раннему свету,
От старческих бредней к ребенка совету
Иди, изумлен, и на участь не сетуй...
Ты – призрак?
Ты – путник?
Ты – Бог?!

Семь пядей во лбу, но ведь пядь – это пять?
Дождись, пока разум уляжется спать.

Бурсак

Железо давило на глаза – беспощадно, до кровавой боли.

Не открыть...

– Товарищ Бурсак! Товарищ Бурсак! Эй, там, дежурный, к врачу, в медчасть, бегом. Бегом, говорю!.. Товарищ Бурсак, это я, Крышталеv. Вам из Киева звонили, срочно очень...

Слова звучали неправильно, незнакомо, и все вокруг, за стиснутыми железными веками, за кольцом боли казалось чужим, ненастоящим. Почему он здесь? Где все? Где всё?

– Товарищ Бурсак, товарищ Бурсак, вам из Киева!..

– Слышу...

Он слышал – еле различимые слова доносились с края света, из невыносимо чужой дали. Станные, хотя уже понятные. Все, все не так, все должно быть иначе! Жизнь – та, что осталась там, за намертво стиснутыми железными веками, разве это его жизнь? Настоящая? Его жизнь, его город... Киев? Конечно же, Киев! Золотое солнце на Лаврских куполах, легкая пыль над горячим летним Подолом, живые лица друзей...

Почему он здесь?

Давило железо. Не открыть...

– Слышу, товарищ. Мне нужно немного полежать.

– Доктор, колите вашу научную микстуру. Дежурный, шторы в кабинете закрыть, никого к товарищу Бурсаку не пускать!..

У него еще было время. Пусть немного совсем. Хватит! Он вспомнит, он вернется назад, чтобы вновь пройти от самого начала. От небытия, от пыльной ветхости, пахнувшей старым деревом и давними мышами.

Привычная тихая вечность, темнота умершей церкви...

Давило...

1

Лютовали сабли, братья не узнавали друг друга. Шел над притихшей от ужаса страной великий и страшный год 1918-й. Пока самым краешком, первой поступью. По январскому снегу, по свежей поземке вел свой боевой отряд товарищ Химерный. Ладно вел – зацвели на его пути красные флаги, загорались горячим огнем вековые панские маёнтки. Быть народной власти!

– А ну, на митинг, товарищи! На митинг! Декреты читать буду!..

– Ура-а-а-а-а!

Что говорите? Уже Терновцы? Село как село, маенток как маенток – не первые на пути. В засыпанном снегом панском парке мраморные Венеры глаза круглые таращат, белыми руками от взглядов непрощенных закрываясь. Не поможет, ох не поможет, панночки, достанет и вас народная власть, власть трудящихся!

Да не с них начнем, с Венер глупых.

– Слухай, товарищи, декрет! Каждое слово слухай, через сердце пропускай. Потому как в словах этих – счастье ваше!

Читает декреты товарищ Химерный, в полный голос читает. Тяжело звучат правильные слова в ледяном воздухе. Не шелохнется народ. Дождались праздника! А вот пан, и он здесь – в мундире генеральском, в погонах золотых. Тоже слушает, не перебивая. И он дождался, но только не праздника. Кончились праздники у вражьей кости! Смотрит на него сам товарищ Химерный взглядом пристальным, пролетарским.

– С землей, товарищи, как сказал, так и будет. А с паном – сами решайте. На такой предмет полная власть народу дана.

Год 1918-й, великий и страшный, год расстрелянных генералов и растерзанных поручиков. Что спасет вас, ваше превосходительство, защитит кто? Вспоминайте, пока есть время, все, что дорого вам, вспоминайте! Свечи балов, сладость первого поцелуя, неяркий блеск Георгиевской сабли, сыновей, шагнувших с родного порога в черную пропасть Великой войны. Вспоминайте, немного вам осталось. Ведь не спасет – ничто не спасет!

А ведь чуть не спасло! Чуть...

– Да пес с ним, с паном нашим, стар уже, песком сыплет. С сынами бы его, волками голодными, поквитаться. Пусть скажет, куда скарбы, у народа отобранные, девал, – и катит подальше, не оглядываясь!

Хмурится товарищ Химерный, не того от народа ожидавший. Но – не спорит. Пусть! Еще успеет новая власть правильную линию трудящимся привить.

– Говори, где золото! Где скарб твой панский, говори!

Не молчите, ох не молчите, ваше превосходительство!..

Сказал пан – от всей души сказал. Голову высоко поднял, нахмурил седые брови...

Кто услышал, кто нет – шумно было у крыльца панского. Но только закричали все в один голос:

– В старой церкви искать надо! Под Градовым! Ломы бери, лопаты хватай!..

Давило железо...

Привычная тихая вечность, привычная тихая ветхость, недвижимый, тяжелый сон. Но всему настает срок, даже у Вечности есть предел.

Он понял. И когда затрещали старые доски, когда ударил в тяжелые веки невиданно яркий свет керосиновой лампы...

– Ишь, накрутили, богомазы! Такую пакость развели!

– Не трать язык по-пустому, товарищ. Доски выворачивай!

В старой церкви повернуться негде. Набился народ, оживил дыханием тухлявые стены, осветил огнем керосинным. Кто доски ломает, кто просто по сторонам смотрит, мертвым иконам зрачки проглядывает.

– А чего же церковь пустой стояла?

– Так проклинали ее, товарищ Химерный. Отчего да почему – забыли уже. Давно случилось, когда еще паны наши сотниками числились. Был покой вечный – нет его. Сорван пол, потревожена земля, а вот и черная крышка глядит наружу.

– Или домовина, товарищи?

– Открывай, там скарб панский и есть!

Смотрит товарищ Химерный на черные доски, железом обитые. Глядит, о низкой народной сознательности думает. Не вмешивается. Еще успеется, а пока трещать панским гробам!

Разлетелось в щепу старое дерево...

– Эге ж... Никак дивчина была?

– Упокой Господь душу...

Прав товарищ Химерный, ох прав! Вот она, несознательность, веками копившаяся! Только что ярились, золота панского взыска, а теперь кресты творят, обломки крышки тяжелой на место пристраивают. Прости, дивчина, не тронем мы тебя, и мониста твои не возьмем, и дукаты тяжелые. Спи дальше!

Только не все это, ох не все! Вторая домовина побольше да потяжелее. Глубоко зарыта, далеко спрятана. Не иначе в ней скарб панский, где ему еще быть?

– Открывай!!!

...И когда затрещали ветхие доски, когда ударил в тяжелые веки невиданно яркий свет керосиновой лампы...

– Товарищи! Так то ж человек! Живой человек! Паны проклятые живого человека в домовину запрятали! Товарищ Химерный, товарищ Химерный!..

– Вижу, товарищи, все вижу. Состав преступления налицо, никакой адвокат панский не поможет. А ну, за фельшаром, живо, может, откачаем еще... А вы – за паном, которого народ в простоте своей несознательной отпустить хотел!..

Он пил воздух, словно горилку. И легче становилось ему с каждым глотком. Вот только веки давили...

– Товарищ, товарищ, глаза открой, себя назови! Порадуй нас, товарищей твоих, скажи, что жив, назло врагу классовому!

– Погодите, товарищ Химерный, плохо же ему. Сейчас нашатырь достану. Гей, лекарства какие есть?

Наконец полегчали и веки. Открыл он глаза, взглянул. Пока без удивления, просто посмотрел. Изменилась церковь, и люди другими стали. И воздух другим. Но если другим, то прежде что было? Почему здесь он?

Почему? И кто?

КТО ОН?

Вспоминай, вспоминай, вспоминай!..

Золотой блеск Лаврских куполов, синяя гладь Днепра, легкая пыль над летним Подолом, тишина в просторном классе...

– Вот это дело! Здравствуй, товарищ, панами почти насмерть замученный! Я – командир революционного отряда товарищ Химерный. А ты кто таков будешь?

– Бурсак...

2

У крыльца пан, без мундира уже, без сапог. Причащен согласно всем революционным обычаям. Ждет пан, когда плюнет свинцом в него народ трудовой. Но не спешит товарищ Химерный, во всем справедливость блюдет.

– Стань сюда, товарищ Бурсак. Покажись, чтобы люди тебя, заживо закопанного, видели, чтобы его превосходительство поглядел. И пусть в пекле своем панском не жалуется на власть трудящихся. Или скажешь, вражина, что не твой грех? Смотри на него, на товарища Бурсака, тобой замученного! И ты, товарищ Бурсак, глаз не отводи!

Он смотрел. Он начинал понимать. Шевельнулись бескровные губы.

– Не он, панове... Похож – да не он. Тот другой был...

Но не дослушал пан, перебил, голосом своим гвардейским слабую речь товарища Бурсака заглущая:

– Признаю грех предков моих! Каюсь – и ответить обещаю на Суде Страшном.

– Так и отправляйся туда, ирод!

Но не стреляют – нет еще команды, не зачитан приговор. Смотрит товарищ Бурсак, думать пытается. А тут его кто-то за руку и взял.

– Держи, товарищ, подарок от меня – и от всего отряда нашего. Пусть «наган» твой народ трудовой защищает!

Девичий голос, веселая усмешка. Сколько дивчине? И восемнадцати нет, поди.

– Оксана Бондаренко! – смеется. – Бери револьвер, товарищ, не давай людей в обиду!

Тяжело руке от оружия, ведь не держала никогда, не прикасалась даже. И губам улыбаться с отвычки – тоже.

– Спасибо...

– Руководствуясь революционной законностью, товарищи! Бывший генерал, а ныне изверг и преступник, приговаривается...

– Гоп, кумэ, нэ журысь!..

Ударила отдача в руку, запахло кругом кислым порохом. Опустил товарищ Бурсак револьвер.

Гоп, кумэ, нэ журысь, туды-суды повэрнысь! Встречай, История, год 1918-й.

Со вторым рождением тебя, товарищ Бурсак!

3

Чи то хмара, чи туман
Отакый велький?
Идэ з Дону воювать
Генерал Деникин!

Весело поется в седле! Когда ездить привычен, конечно. Тогда и петь легко, и разговор душевный не в тягость.

Обучился этой премудрости товарищ Бурсак. Многому иному тоже – время больно подходящим оказалось. И по руке ему уже даренный красным бойцом Оксаной Бондаренко револьвер. Вот она, красивая, на своем сером в яблоках, рядом почти. Улыбается, на товарища Бурсака смотрит. Но занят товарищ Бурсак – беседует с самим товарищем Химерным, что ведет отряд размашистой рысью по боевой революционной дороге.

Докучыло генералу
Марно йиснуваты,
Зибрав донских козаків
З намы воюваты!

– Пусть не будет у тебя сомнений, товарищ Бурсак. Не печалься, что отняли паны память твою, имя твое отняли. Революция новую память тебе дарит, и фамилию с именем, и судьбу. Не годишься ты мне в сыновья, потому как возрасту оба мы молодого, хоть и седой ты от панского глумления. Поэтому будешь ты мне, товарищ Бурсак, братом!

Не поспоришь с командиром Химерным, умеет он говорить убедительно. Не спорит товарищ Бурсак, об ином думает.

Он думает, а отряд поет. И Оксана Бондаренко поет, на друга нового смотрит.

Гей, збырайтэсь й повэртайтэсь
У горах на кручи,
Наступайте й заспивайте
Веселойи идучи!

– Навсегда останусь твоим братом, товарищ Химерный. Только плохо мне бывает. Страшное вижу – во сне и наяву тоже. Церковь перед глазами, мертвая дивчина в домовине черной, мертвые личины вокруг. Подступают, руки костлявые тянут. И будто веки мои из железа. Тяжело тогда дышать мне. Давит...

– Нелюдское дело сотворили с тобой проклятые паны, брат мой, товарищ Бурсак. Потому и яростен ты в бою, потому и назначен моим боевым заместителем. Пусть рука твоя и дальше

твердой будет. Но смотри! Узка дорога наша революционная. Направо свернешь – слабость покажешь, врагов лютых на волюпустишь. И будут губить они народ трудовой дальше. Но и налево нельзя. Шагнешь – своих же братьев на распылпустишь. Станешь ты тогда хуже всякого пана.

Заспивайте веселойи,
Щоб аж лыхо гнулось
И щоб панство генералам
Повик не вернулось!

– Запомню я слова твои, брат мой, товарищ Химерный! Не дрогнет рука моя врагов лютых в штаб Духонина отправить. Не поднимется друга убить. Клянусь тебе, брат!
Идет отряд, спешит в бой. Спели про Деникина – про Петлюру-гада начнем!

Як задумав пан Петлюра
Сватать молоду,
Та й посунув на Вкраину
Всю свою орду!

Позади год 1918-й. Незабываемый 1919-й настает!

4

Вновь лютовали сабли...

– Всех кончили, товарищи?

– Не всех еще, товарищ Бурсак. Дивчина тут. Прапорщик золотопогонный.

Смешались люди в страшную кучу – живые, а больше мертвые. Гаплык отряду офицерскому, что в наглости своей классовой замахнулся на Красную Москву походом идти. Дочванились, допились крови народной по самое горлышко!

Гаплык!

– Какого отряда, полка которого были, поглядите.

Достали из френча, из кармана нагрудного, кровью проклятой офицерской залитого, книжку в твердой обложке. Развернули.

– Поручик Андрей Разумовский. Дроздовский полк, конный эскадрон. Ишь, фамилия гетьманская!

– Амба тебе, Разумовский! Не встанешь уже. Не возьмешь булавы!

В поход пора, заждался товарищ Химерный побратимов. Прижали его звери-офицеры к речному берегу, к самой переправе. Спешит его боевой заместитель, брат названный, товарищ Бурсак, на помощь. Время!

А тут дивчина...

– Приведите золотопогонницу!

Привели. Поднял веки товарищ Бурсак, поглядел.

...И вновь тяжелыми веки показались. Словно железными.

– Ишь ты!

И вправду ишь ты. Стояла дивчина во френче зеленом, светила глазами отчаянными. Расплескалась русая коса по золотым погонам. Молчала – на врагов классовых смотрела. Вдохнула Оксана Бондаренко, бесстрашный боец Рабоче-Крестьянской.

Чего ждать тебе, золотопогонница? Или не знаешь? Умереть тебе, и хорошо, если сразу. Свяжут по рукам и ногам, через седло перекинут, а после распнут среди желтой от жары травы. Не ты первая, и последняя – тоже не ты.

Знала об этом дивчина. Не опускала глаз.

– Может... Может, отпустим, товарищ Бурсак?

И словно лопнуло что-то, разорвалось рядом. Будто упал снаряд батареи гаубичной. Не иначе подумали бойцы о женах своих, с победой их ждущих, невест и сестер вспомнили, дочерей. Сгинула лютость, умчалась пороховым дымом. Заговорили разом, друг друга перебивая:

– Товарищ Бурсак, товарищ Бурсак! Отпустим ее, пожалеем! Не станем красоту такую в грязь затаптывать, на шинелях вшивых позорить! Не будем убивать, неправильно это. Может, за то в светлом царстве, в будущем коммунистическом, дюжина грехов с нас снимется?

– Товарищ Бурсак! – вновь Оксана Бондаренко, боец бесстрашный.

– Тихо-о!

Упало тяжелое слово, чужую речь гася. Подошел к пленнице товарищ Бурсак.

– Один у нас закон революционный – на всех один. Нет тебе пощады, офицер белый! Одно спасет – сорви погоны, потопчи при всех и вступай в отряд наш. Искупишь кровью грех против народа трудового!

Не сразу ответила дивчина в офицерской форме. Но вот сжались губы, потемнели глаза. Шагнула она вперед...

Упали веки тяжелые, железом загремев. Встала Память, протянула мертвые руки. Не дивчина во френче зеленом шла к нему, ступая без страха. Иная, совсем иная, хоть и похожая, словно сестра.

Пустые глаза, недвижный лик. Только пальцы вперед тянутся...

– Ведьма это, товарищи! Ведьма, панове!.. Мертвая, мертвая! Рубай ее, пластай в пень!..

– Прав ты, товарищ Бурсак, а я не права была. Нет еще во мне твердости классовой!

– Не знаю, Оксана, не знаю... Плохо мне, не вижу ничего. Веки... Словно железные они, не поднять. Не хотел я крови, но будто догнало что-то, поманило...

– Устал ты, дорогой товарищ Бурсак. Подремли в седле, я рядом поеду.

Лютовали сабли.

5

Был Деникин – нет его. Врангель-генерал остался, саблям острым на закуску.

За старым Турецким валом
Чорный Врангель, злый барон,
Вин не вытрымав удару,
Загубыл останний трон!

– Ну вот, товарищ Бурсак, оставляю тебе отряд. Ждет меня в пролетарском Харькове работа важная, партийная. Надеюсь на тебя, брат мой названный.

– Не подведу, товарищ Химерный!

Рвались з видблыском снаряды,
Лютував гнилый Сиваш,
Йшли впэрад бийцы брыгады
Крым узяты з боем наш!

– Сказать тебе должен, брат мой. Не хочется, а должен... Страшен ты стал, бойцам нашим, и тем боязно. Гложет тебя что-то, не отпускает. Будто и вправду ведьмы и чаклуны, в которых наука верить не велит, заморочили тебя, мертвяком-оборотнем сделали. Потому и в домовину заколотил тебя пан – от беды подальше. Говорят, пленных не берешь, мирный народ расстреливаешь, детей и женщин не щадишь. Страшно за тебя, товарищ Бурсак, – и за всех остальных страшно.

Хвыли хлюпалы солони,
Лип до ниг холодный мул,
Навкруги – туман з морозом,
И снарядив гризный гул...

– Правда твоя, товарищ Химерный. Сам себе страшен бываю. Душит меня мара, словно мертвецы в их проклятый Жиловый понедельник ко мне все разом подступили. И веки порой не поднять, тяжелые они, железные. Вели расстрелять меня, брат! Приму приговор твой.

«Упэрэд, ударна група,
Вал узяты!» – в ничь нэсло,
Скільки там геройив трупом
У бою тогда лягло!..

– Не поднимется моя рука на брата по классу, товарищ Бурсак. Видать, и я силы потерял на проклятой войне. А главное, в тебя крепко верю. Кончатся бои, новая жизнь настает, счастливая да вольная, Оксана Бондаренко, красавица наша, с тебя глаз не сводит. Гони мару, товарищ Бурсак! Гони прочь смерть проклятую!

Вал взяли, мов блискавця;
Понеслось: «Ура! Вогонь!»
Впала врангельска фортеця
Й розшматованный погон!

Нет и Врангеля, на веки вечные за морем сгинул! Только не время еще по хатам, товарищ Бурсак, ой не время!

6

Еще вчера, еще только вчера...

– Даже имени своего не знаю я, Оксана. Даже имени! И фамилия у меня другая, не Бурсак вовсе. И чего было до церкви той проклятой, где нашел меня товарищ Химерный, не помню совсем. Только иногда... Будто Киев, будто Лавра с золотыми куполами, классы с партами. Может, из студентов я? Товарищи бойцы целую сказку придумали. Мол, положил я глаз на дочку того пана-генерала, а он в гневе панском велел меня в домовину живым заколотить, в церкви старой спрятать. Потому и видится мне нежить всякая, оттого и не отпускает. Нет, Оксана, не так все было! Хуже, много хуже. Кто знает, может, зря меня из домовины подняли? Страшнее нет, когда мертвец среди живых бродит!

– О чем говоришь ты, дорогой товарищ Бурсак? Скоро кончится война, добьем мы Махно-живореза, совсем хорошая жизнь настанет. Надену я вместо казенной формы платье самое лучшее, а ты орден начистишь поярче. Поедем мы с тобой в твой Киев, по Креща-

тику пройдемся. И скажу я тогда тебе, дорогой товарищ Бурсак... Сил наберусь – обязательно скажу!

Еще вчера, еще только вчера...

– Мы все приготовили, товарищ Бурсак. Даже гроб сколотили, фанерный, правда... Товарищ Химерный приехал, как и обещал.

– Спасибо.

Шагнул он вперед, поднял веки железные...

Лежала в фанерном гробу красный боец Оксана Бондаренко.

И скользнула рука к кобуре – туда, где ждал минуты своей револьвер, ею подаренный. Дотронулась, ухватила холодную рукоять.

– Не смей, брат!

Силен голос товарища Химерного, и пальцы сильны. Выпал револьвер на весеннюю траву.

– В рай пойдет красавица наша, – вздохнули рядом. – Великдень Святой скоро!

И не возразил никто.

– Положу я револьвер в ее гроб, товарищ Бурсак, чтобы на том свете Оксана себя в смерти твоей, наглой и глупой, не винила. Положу – и буду речь говорить. А ты – плачь! Приказываю: плачь!

Он не мог плакать. Сомкнулись веки...

Не умирай, живи дальше, товарищ Бурсак! Для того ли тебя из домовины на свет белый выводили, для того ли учил брата своего названного товарищ Химерный? Для того ли берегла для тебя красный боец Оксана Бондаренко слова заветные?

Живи, товарищ Бурсак! Ждет тебя новая работа.

7

– Экая горница, товарищ! Панская прямо!

– Не горница, товарищ Бурсак, – кабинет, хоть и панский. Точнее молвить, был панский – наш стал. Ваш!

Поглядел он вокруг – славно! После полей окровавленных, после походов бесконечных – тишь да чистота. Мебель дерева темного, шторы на высоких окнах тоже темные, лучика солнечного не пропустят. И это неплохо, глаза меньше болеть станут. Посреди – стол, всем столам стол, а на столе прибор чернильный хитрой немецкой работы.

– Так в чем моя новая работа будет?

– Работа ваша – наиважнейшая. Кончилась война, но борьба классовая еще пуще разворачивается. Поэтому будете вы, товарищ Бурсак, списки врагов подписывать. И не думайте, что дело это вашего прежнего проще. Не проще оно, труднее. Легко врага в бою горячем пополам разрубить, в мирное же время твердость железная в душе нужна. Ведь не сразу врагами становятся. Много у революции друзей ненадежных, им в списках ваших самое и место. Приступайте, товарищ, желает вам революция успеха!

Подошел он к столу, взглянул. Лежат бумаги, его ждут. Много фамилий на тех бумагах. Кто и за что, не сказано даже. Можно трубку телефонную поднять, спросить можно...

Так ведь не за тем поставлен! Не за тем доверием революционным почтен.

Дрогнуло что-то в душе. И вправду, в бою легче. Даже в церкви ночной, когда страхи смертные подступают, – легче. Дрогнуло – и отступило, забылось. Может, шторы темные помогли, солнце скрывающие. Сел товарищ Бурсак за стол, пристроил лампу стекла зеленого, взял перо, в чернила макнул.

Попробовал.

Четко подписалось, буквочка к буквочке!

Удивился он даже. Отчего так свободно, так просто стало? И душа не ноет, и веки пуха легче. Видать, прав товарищ Химерный, гнать от себя мару проклятую требуется. А в таком кабинете никакая мара не возьмет!

Заскрипело перо по бумаге. Пошла работа!

Пиши, товарищ Бурсак. Много твоих подписей революции требуется!

8

– Заговор, товарищ Бурсак. Потому и фамилий так много. Потому знакомые они.

– И вправду, знакомые. Мы же с ними на Деникина ходили, Врангеля, генерала черного, в море топили! Как же так? Куда придем мы, если в эту сторону зашагаем? А ведь говорил мне товарищ Химерный, предупреждал: «Шагнешь – своих братьев на распылпустишь. Станешь ты тогда хуже всякого пана».

– Вот я и говорю: заговор, спешить нужно. Хуже врагов бывшие друзья становятся. Собрали товарищи на них матерьял, потребуется – еще наберут. Пока же подпись нужна. И пусть рука ваша не дрогнет!

9

А за окном, за шторами тяжелыми, другие уже песни гремят:

В нас нэмае бильше пана,
Й куркули подохлы,
И кисткы йихни погани
Погнылы, посохлы...

Отвлекают песни товарища Бурсака от важной работы. Только не жалеет он – песни слушает. Нравятся ему – правильные!

Надо бы могилку Оксаны провести, поди, не смотрит никто. Да все недосуг. Много работы, ох много!

10

– Не бережешь ты себя, брат мой товарищ Химерный! И пусть не сойду я с этого места, если не напишу сейчас бумагу в город Киев, в нашу новую столицу, чтобы выделили тебе путевку в санаторий самый наилучший. Поедешь ты в Крымреспублику, в палаты, где цари с панами проживали, здоровье свое революционное поправлять!

– Спасибо за добрые слова, брат мой товарищ Бурсак. Я же за твое здоровье рад, вижу, выправилось оно окончательно. Помню, писал ты мне, что спишь хорошо, глаза не болят и мара смертная больше не подступает. И тому обстоятельству рад я вдвойне. Тебе же, как брату, пожаловаться хочу, хоть и негоже это бойцу революции. Плохо теперь сплю я, просыпаюсь, думаю, все понять не могу. Туда ли идем мы, товарищ Бурсак? Трачу силы я свои, еще уцелевшие, чтобы защитить товарищей безвинных от произвола. Только сил не хватает. И вот снилось мне недавно, совсем плохо снилось... Будто все, как рассказывал ты, как тебе виделось: церковь, иконы трухлявые, домовина черная, нежить проклятая вокруг. И нет мне спасения. И будто сам ты, брат мой товарищ Бурсак, с арестным ордером ко мне приходишь.

11

И снова песни. Как без песен-то?

Хыжи очи зазырають,
Порываються до нас,
И тому мы на сторожи
Кожен день и кожен час.

Ворогив мы не прогавим,
Завжды рыло набьем.
Колы сурма в бий поклыче —
Вси гвынтивкы визьмемо!

Кивает товарищ Бурсак, новую правильную песню слушая. Подписывает списки, и легко ему на душе. Вот только отдыхает редко – много стало работы. Совсем много!

Одно хорошо – шторы тяжелые свет не пускают.

12

– А потому, выступая на съезде нашем, с высокой этой трибуны призвать я должен вас, товарищи мои боевые! Ходили мы с вами на Деникина, и на Врангеля ходили, и на Махно, подручника куркульского. Но все те враги – и не враги, считай, полврага каждый. Настоящие враги среди нас – затаились болотными гадюками. Готовят на сребреники панов заморских мятежи и террор, убивают в спину товарищей наших, жгут добро колхозное. Можем ли мы одолеть зло такое? Можем – и должны, велит нам это революция. А потому первым делом разобраться следует с теми, кто, подобно товарищу Химерному, бдительность напрочь утратил, врагам лютым потакает, спасает их от карающей руки народа. Не выйдет у тебя, бывший товарищ Химерный. Перед всеми говорю: не пройдет!

Хорошо сказал, товарищ Бурсак. Ой хорошо! Слышишь, хлопают как?

13

Той ночью увидел товарищ Бурсак сон – впервые за много лет. Знакомый сон, хоть и подзабытый слегка. Киев увидел, Лаврские золотые купола, пыль на Подоле летнем, большой класс с черными партами. А после пропало все, и встала перед ним церковь памятная. Трещала крышка домовины, гвозди теряя, поднималась с ложа смертного ведьма с глазами пустыми. Вот и нечисть со всех сторон подступила, лапы с когтями тянет.

Не к нему тянет. И не ему, бурсаку киевскому, седым трупом в гроб лечь, не ему под досками гнилыми лежать.

Вот славно, подумалось, что не ему. Только вновь заболело под веками, словно бы крица железная легла на зрачки.

Железо давило на глаза – беспощадно, до кровавой боли.

Не открыть...

– Товарищ Бурсак! Товарищ Бурсак! Вам из Киева звонили, срочно очень...

– Понял, товарищ Крышталеv. Помогите встать.

Полегчало. Слышалось, стоялось даже, только глаза болью пылали. Или шторы в кабинете зачем-то убраны?

– Вот и хорошо, товарищ Бурсак, вот и славно. Велели вам наиважнейшее дело справить – лично врага народа бывшего товарища Химерного взять. Честно скажу: опасно это, очень опасно. Совсем врагом бывший товарищ Химерный стал, не побоится поднять руку на славных бойцов революции. И на вас, товарищ Бурсак, не побоится.

Опасно? Вспомнились лихие атаки, конные рубки вспомнились, трупы окровавленные на снегу. Когда-то и такое опасным казалось. И списки бесконечные поначалу тоже трогать было боязно. Но чего страшиться? Ведь там, в церкви старой, теперь приходят не за ним.

Так ведь вроде клялся он? Слово крепкое давал? «Клянусь тебе, брат!» Только о чем то слово? Позабылось! Но – не страшно. Сейчас даже это не страшно.

Если бы не веки!

Не открыть...

Железо давило на глаза.

– Гей, кто там? Крышталеv? Машину!

14

И вот он в церкви – в той самой, знакомой. Скрипят доски трухлявые под ногами, шепчется рядом послушная нежить. Трудно идти, под руки ведут, но все равно радостно. Словно домой прибыл после долгой отлучки.

Шаг, еще шаг... «Направо свернешь – слабость покажешь, врагов лютых на волю отпустишь. И будут губить они народ трудовой дальше. Но и налево нельзя». Кто сказал? Неважно, пустые слова, он все равно дойдет, положит железные руки на чужое, теплое горло... «Сам себе страшен бываю». А это чьи слова? Не его ли самого? Неправда, не страшен он себе – остальным, что еще живы, страшен.

Приятно о таком думать. Жаль, глаза не видят! Не разглядеть последний ужас на лице того, кто сейчас перед ним. Не рассмотреть, не найти даже.

Ничего, найдет!

– ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ! НЕ ВИЖУ!



Сатанорий

– Приехали! «Ладушки».

Автобус со скрипом и злым шипением разжал челюсти, прощаясь с недопереваренной добычей. Пассажиры повалили наружу: тряская утроба доконала всех. Он выбрался в числе первых, подал руку жене, вскинул рюкзак повыше и осмотрелся. Ральф, всю дорогу притворявшийся сфинксом, вкусив свободы, словно с цепи сорвался. И теперь, беря реванш за долгое «Лежать!», нарезал круги вокруг обожаемых хозяев. Последнее солнце ноября плеснуло золота в редкие шевелюры старцев-дубов, нездоровым чахоточным блеском отразилось в стеклах корпуса, вымытых до сверхъестественной, внушающей ужас чистоты; блеклую голубизну арки у входа на территорию пятнали бельма обвалившейся штукатурки, и нимб издевательски клубился над бронзовой лысиной вездесущего вождя.

Струйка суетливых муравьев хлынула к зданию администрации, волоча чемоданы и баулы. Наверное, стоило бы прибавить шагу, обогнать похоронного вида бабульку, на корпус обойти рысака-ровесника, подрезать его горластое семейство, у ступенек броском достать вете-рана, скачущего верхом на палочке, в тройке лидеров рухнуть к заветному окошку, оформить бумаги и почтить на лаврах в раю номера. Но спешка вызывала почти физиологическое отвращение. Он приехал отдыхать. В первую очередь – от ядовитого шила, вогнанного жизнью по самую рукоять.

Хватит.

Сын удрал вперед наперегонки с Ральфом; впрочем, занимать очередь ребенок не соби-рался. Чадо интересовал особняк – старинный помещичий дом, двухэтажный, с мраморными ступенями и колоннами у входа; именно здесь располагалась администрация санатория. А Ральф, здоровенный, вечно слюнявый боксер, с удовольствием облаивал жирных, меланхолич-ных грачей, готовый бежать куда угодно, лишь бы бежать.

Стоя в очереди, он завидовал собаке, потом завидовал сыну, еще позже завидовал жене, которая вышла «на минутку» и потеряла счет времени. Зависти было много. Хватило до конца.

– Ваш номер 415-й. Сдайте паспорта.

– Хорошо.

К корпусу вела чисто выметенная дорожка. Можно сказать, стерильная, как пол в опера-ционной. По обе стороны росли кусты: неприятно голые, с черными гроздьями ягод, сухих и сморщенных, кусты шевелились при полном безветрии. Лифт не работал. По лестнице полу-чалось идти гуськом, и никак иначе. Четвертый этаж оказался заперт. Полностью. А дежурная с ключами играла в Неуловимого Джо. Поиски настроения не испортили; верней, испортили не слишком. Приехали отдыхать. Семей. Нервы, злость, скандалы остались дома: скрежещут зубами в запертой и поставленной на сигнализацию квартире. Это заранее оговорено с женой. Он вспоминал уговор, плетясь за объявившейся ключницей, выясняя, что в 415-м трехкрат-ном номере отсутствуют электрические лампочки, душ и не работает сливной бачок, а в 416-м номере, где все работает, сливается и зажигается, – две койки.

– Посмотрим 410-й?

– Там комплект?

«Вряд ли», – читалось на одутловатом лице дежурной, похожей на статую уничтожен-ного талибами Будды. Дальше случилось чудо: сестричка из медпункта вместе с уборщицей, проявив не свойственное обслуге рвение, быстренько перетащили одну кровать из бездуш-ного номера в душный. Первый порыв был – помочь. Женщины все-таки. Но он одернул внутреннего джентльмена. За путевку плачены деньги. Администрация обязана предоставить комплектный номер. А если персонал погряз в лени, забыв подготовить корпус к заезду отды-хающих, – пусть теперь корячатся!

Мысли были правильные, но ледяные. Январские. Стало зябко. Когда койка заняла отведенное место у окна, он протянул медсестре мятую пятерку:

– Возьмите.

– Ой, нет, что вы! Нельзя! – Девушка захлопала ресницами. Испуг казался наигрышем, хотя денег она так и не взяла. – У нас это не принято!

«Везде принято, а у вас – нет?!»

Пожав плечами, он принялся распаковывать рюкзак.

На завтрак, естественно, опоздали. Тем не менее бескорыстная сестричка убедила сходить в столовую: ее рассказ о гастритах и язвах, только и ждущих нарушения режима питания, будил в душе первобытные страхи. Действительно, завтрак нашелся: остывший, в меру съедобный. Из трех блюд: котлета с ячневой кашей, каша манная и чай. Есть в пустом, гулком помещении было странно. Призраки подглядывали из-за соседних столиков – легионы гостей, некогда евших здесь. Взгляды невидимок отбивали аппетит. Котлеты они с сыном сдобрили кетчупом, предусмотрительно захваченным в дорогу, манную кашу есть не стали, а жидкий, приторно-сладкий чай даже показался вкусным. Жена, напротив, с аппетитом уплела все три порции манки. И доела за сыном ячневую. За десять лет супружества для него по-прежнему оставалось загадкой: как она может есть эту дрянь?

– С завтрашнего дня начну худеть.

Он обреченно кивнул.

Завтра не наступало никогда.

Разночтения вкусов увеличивали число домашних забот: угоди-ка семье, когда каждый, включая собаку, жрет разное и привередничает! Но до ссор на этой почве не доходило. Жена готовила молча. Копя немое раздражение, наполнявшее квартиру едкой кислотой. Ничего, здесь, в санатории, отдохнет. Ни стирки, ни готовки. Красота. А что ноябрь – так даже лучше. Меньше народу.

Вернувшись в номер, он упал на кровать, закинул руки за голову и блаженно закрыл глаза. Отдых! Валяться, спать, читать книжки – кыш работа, прочь звонки, долой суету...

– К озеру сходим прогуляться?

Жена рассеянно вертела в руках вилку допотопного радио: намертво приколотенный к стене куб из черного эбонита, с металлической сеткой-забралом и единственной ручкой громкости, выглядел хищным монстром из фильма ужасов.

– Сходим. После обеда.

– Ладно, спи. – Любимая женщина все поняла правильно. – А мы Ральфа возьмем и пройдемся.

– Угу, – буркнул он, проваливаясь в сон.

Снилась муть. Этот же номер: однокомнатный, с фото-обоями на стене. Перекаты горной реки: бурлящая вокруг валунов вода, противоположный берег наполовину скрыт зарослями боярышника, взбегают на скалы сосны и желтые осины; клочья ваты тают в неприветливом, внимательном небе. Издалека донесся сдавленный шум. Быстро нарастая, превращаясь в плеск – нет, в грохот разбивающегося о камни потока! «Трубу прорвало, что ли?» Обои вспухли пузырем, картина мгновенно стала объемной, настоящей, – в следующий миг река хлынула в комнату, захлестывая с головой, забивая горло. Тело сковала слабость, крик застрял в глотке, ночь ударила в лицо рыбной вонью...

– А-а-а!

Он рывком сел на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Наваждение отступило, но слабость осталась. В прямоугольнике зеркала над тумбочкой отражался человек: растрепанный, с мятой физиономией. За человеком – стена с фото-обоями. Речка, осины, скалы. Сейчас лопнет и утопит. Он вздрогнул, поспешив натужно рассмеяться. Во рту пересохло; сбегав в ванную, долго пил из-под крана холодную, пахнущую хлоркой воду. Потом вернулся в ком-

нату. Пальцы машинально нашарили шнур от репродуктора. Радио он не любил и дома никогда не слушал, но сейчас это было в самый раз. Какие-нибудь «Валенки» или «Нас не догонят», да погромче, с хрипами и треском дряхлого динамика. Кондовый оптимизм родных осин (*опять?!)* хорош от неврозоз.

Вилка со щелчком вошла в розетку. Он решительно прибавил громкости – так скручивают голову предназначенной на убой птице. Ожидаемый хрип, скрежет, помехи.

Бесполоый, слегка испитой голос:

Рука сама рванула шнур. Вскрикнула вилка, покидая нору розетки. Под эту песню семь лет назад умирала его бабушка. До последней минуты не позволяя выключить проклятое радио.

Развеялся.

Проникся, значит, оптимизмом.

– Пап, там озеро! Турники! Мы крепость видели!..

Сын ворвался в комнату, спеша вывалить на отца ворох новостей.

– Выспался? После обеда пойдешь с нами? – поинтересовалась жена, входя следом.

Он согласился. Конечно, пойду. С вами. Меньше всего хотелось оставаться здесь в одиночестве. Под сволочными обоями.

– Воды хочешь? Мы лимонаду купили в ларьке.

Столики были на четверых, и к ним подсадили сухонькую каргу в платочке. К счастью, карга попалась молчаливая. Не стала без предисловий сетовать на жидкий стул и злыдню невестку. Разве что чавкала громко.

Безвкусный борщ отдавал скепсисом.

– Больше будешь мои обеды ценить. Разбаловала я тебя.

Он кивнул.

– Кстати, борщ вполне. Полезный, наверное. Диетический.

Он кивнул еще раз: полезный.

Соль и перец обещали спасти положение. Но пшенная каша, поданная в виде гарнира к обязательной котлете, стояла насмерть. Сдавшись, он без энтузиазма ковырнул вилок котлету. Белесые жилки торчали из фарша. Местами котлета подгорела. Куда хуже утренней. Из чего их делают? Из каких жертв кулинарии? «Лучше худеть буду. Прямо сейчас и начну». Съеденный после обеда шоколадно-вафельный батончик «Полюс» отчасти вернул благодушное расположение духа. Сейчас бы бутылочку «Бархатного» и хорошую сигарету... Увы. Пока не долечит печень (слава богу, недолго уже осталось!) – алкоголь под запретом. Даже пиво. А курить в августе бросил.

Не начинать же по новой?

Он с тоской покосился на лоток в вестибюле: вино, коньяк, сигареты. Для компенсации купил себе и сыну по второй шоколадке. Сладкое – яд, но тут уж – дудки! Не дождетесь! Не отвалится печень от лишнего батончика.

Снаружи полыхала красками осень. Редко склочник-ноябрь сходит с ума, страдая бабьим летом. Еще зеленели, подернутые ржавым золотом, дубы в роще, лимонной желтизной украсились плакучие ивы, сбегая к озеру – умыться косы в темной воде; вспышки пурпура в кленах, хрусталь воздуха расколот едва уловимой горчинкой: знакомый с детства запах паленых листьев. Слишком ярко, слишком празднично, слишком подозрительно.

Словно обед перед казнью.

Они втроем спускались по усыпанной гравием аллейке вниз, к озеру, болтая о разных пустяках. Большей частью болтала жена; он кивал или односложно поддакивал. Миновали бетонную коробку с надписью «Бассейн». Двери бассейна были заперты, а рядом, в стене, зияли ряды круглых отверстий. Воду сливать, что ли? Дыры были забиты сухим цементом. Так и

представилось: куб из бетона наполняется водой доверху, и если кто-то по случайности откроет дверь – бедолагу смоет вырвавшимся на волю потоком...

От бассейна через аллею тянулась отчетливая влажно-блестящая полоса шириной в добрых двадцать сантиметров. Будто оттуда недавно выполз, скрывшись в зарослях жухлой травы, гигант-слизень. При взгляде на эту полосу к горлу подступила легкая тошнота. Он быстро переступил гадкий след, спеша уйти подальше. Ральфу след тоже не понравился: пес обнюхал дорожку, фыркнул, чихнул и кинулся за хозяевами. Но вдруг, присев на задние лапы, оглушительно взвизгнул. Он обернулся, собираясь прикрикнуть на собаку. Окрик вышел тихим и скомканным. Такое он видел впервые: пес, скуля и дрожа всем телом, пятился от вполне безобидного на вид куста. Потом рванул прочь, подбежал и затравленно прижался к ноге, прячась за спину главы семейства. Пускать хозяев к кусту Ральф категорически не желал. Пришлось жене держать животное, пока они с сыном осматривали причину собачьего ужаса. Куст как куст. Ничего особенного. Только в самом центре, меж тонких голых стволиков, валялась чья-то рука. В смысле, кожаная перчатка: старая, с дыркой на указательном пальце.

– Что ж ты так опростоволосился, зверь? Не стыдно?

Ральф скулил, слыша укориону в голосе хозяина, виновато заглядывал в глаза, но вернуться к кусту отказывался наотрез. Может, химию какую разлили? Людям без разницы, а собака чувствует...

Ниже располагалась площадка тренажеров: бессмысленная, пустынная. Они с сыном не отказали себе в удовольствии «покачаться». Минут десять, может, двадцать. После нагрузки мышцы разболелись, зануло травмированное давным-давно плечо. Вернуться обратно и прилечь? Нет, жена станет брюзжать. Да и, если честно, здесь хорошо. Несмотря ни на что. Провинциальная глушь со своими незатейливыми прелестями и вялым ритмом жизни, который хоть ритмом, хоть жизнью назвать затруднительно.

– Пойдем дальше? К речке?

– Пойдем.

Маленький пляж со стационарными мангалами, облупленными «грибками», кабинками для переодевания и столиками-пнями. Вышка для прыжков, длинные мостки с перилами. Сейчас, в ноябре, понятное дело, никого нет.

Не сезон.

– Сходим в лес за опятами?

– Не стоит. Тут их готовить негде. Да и отравиться недолго...

– А на речку? Мне сказали, на том берегу, где скифские курганы, археологи нашли золотой клад...

– Папка! Хочу к курганам!

– Посмотрим...

Вокруг озера обошли за полчаса. Осень. Запустение. Стылая рябь. Сквозь темную, но при этом, как ни странно, прозрачную воду виднелись липкие водоросли на дне и редкие тени. Рыбы, наверное. Желто-бурый с прозеленью ил выстилал дно мягким саваном. Деревья оцепенели в предчувствии зимы. Грусть смены сезонов, пролог долгой летаргии. Говорят, Гоголь очень боялся летаргии: похоронят живого, спящего... Солнце, клонясь к закату, проложило по воде дорожку расплавленного металла, перечеркивая отражения ив и облаков.

Обратно возвращались другой дорогой. Побывали в детской крепости, вполне похожей на настоящую: с пушками из бревен и фигурами богатырей. От одного идола жена даже шарахнулась: вдруг почудилось, что богатырь протянул руку. Пришлось долго успокаивать: сумерки, игра теней, оптический обман... Потрогай, не бойся. Видишь: деревянный. Ребятам летом раздолье. Жаль, сейчас сыну поиграть не с кем. Впрочем, ребенок и так доволен: нечасто они куда-нибудь выбирают всей семьей. Работа, склоки, дразги...

Другое дело – в этом мирном захолустье. Тишь да гладь.

Покидая площадку, он оглянулся. Идол тянул вслед грубо тесанную руку.
Прощался? Предупреждал?

За ужином объявился массовик-затейник: шумный и назойливый, как базарная побирушка. Даже удивительно, что такие еще сохранились. Идя в ногу со временем, массовик не бегал по столовой с мегафоном, а вещал через динамики из будки радицентра. Отдыхающих ждал джентльменский набор: замшелый ужастик «Из бездны», танцевальный вечер знакомств в фитобаре на первом этаже и под конец – совместное распивание... Это затейник пошутил. И сразу поправился: конечно, распЕвание песен под баян в том же фитобаре.

Последнее мероприятие называлось «Кому за полночь».

Затем, откашлявшись, массовик объявил о завтрашнем приезде в санаторий выставки Музея восковых фигур: «Пытки и казни Востока». Покинув будку, начал собирать деньги с желающих. Любоваться пытками не хотелось; жена с сыном тоже не проявили особого энтузиазма. Но когда массовик оказался возле их столика, выжидательно уставясь лупатыми глазками Раскольникова, одряхлевшего на каторге, – рука сама полезла в карман за деньгами. Соседка по столу как сомнамбула механически протянула засаленную купюру. Сейчас карга вполне могла сойти за экспонат выставки.

Массовик, получив мзду, свернул к кухне. Над его спутанной грязно-седой шевелюрой каркнул динамик. Знакомый бесполой голос:

...что притих за портьерой?
Выпад. Шпага в крови.
Приходящие, верою
Не искупишь любви...

Он резко встал, почти вскочил, едва не опрокинув стул, и устремился к выходу. Некоторое время стоял у входа в столовую, шумно дыша. Сосчитал до десяти. До ста. До пятисот. Жена с сыном показались в дверях.

- Фильм смотреть пойдешь?
- Нет!
- Почему ты кричишь?
- Я не кричу.
- Может, все-таки в кино?
- Я сказал: нет! Книжку лучше почитаю.
- А мы сходим.

Он с удивлением вытаращился на жену. Ну сын-то ладно, а она? Ведь никогда жутиков не любила! Или для нее это отдых? Ладно. Отдыхать уезжают, чтобы делать то, что хочешь. Он не хочет в кино – и не пойдет. Жена с сыном хотят – пожалуйста! Кто против?

А лично он вернется в номер.

Впрочем, перед тем как завалиться на кровать с книгой, он решил еще немного подышать воздухом. Но вначале покормил Ральфа, высыпав в миску треть пакета с сухим кормом. Корм взяли с собой, зная слабый желудок пса. Один кусочек откатился в сторону, забившись под плинтус; ему показалось, что это таракан. Через секунду он был глубоко убежден: да, таракан. Если б понял раньше, успел бы раздавить. При виде миски к горлу подкатила тошнота. Да и Ральф ел неохотно. С трудом дождавшись, пока пес закончит трапезу, он вышел из корпуса, слыша, как собака бежит следом. Когти тупо цокали по линолеуму. За порогом обогнав хозяина, боксер умчался в темноту – по своим делам. Он не возражал, уважая чужое право на одиночество.

На небе зажигались первые звезды. Густая синева становилась фиолетово-черной, исподволь, с вкрадчивостью плесени окутывая санаторий. На западе слабо тлел окурок заката. Он брел вокруг корпуса, заложив руки за спину. Завтра надо будет осмотреть всю территорию. Просто так, из любопытства. Мысли текли лениво, скучно, лишь где-то на краю сознания дремал, помаргивая вполглаза, огонек тревоги. Раздеваясь перед сном, шептались деревья, качался одинокий фонарь под жестяным колпаком. Под фонарем по земле метались тени и пятна желтого света, мелко просеянные сквозь сито ветвей.

Он сам не заметил, как оказался с тыльной стороны корпуса, напротив черного хода с грузовым подъездом. Дальше, за поворотом дороги, огибавшей здание, таились в темноте хозяйственные постройки. Оттуда доносилось гудение, на которое накладывалась глухая ритмическая пульсация. «Подстанция, должно быть. И насосная. Или котельная». Постройки при ближайшем рассмотрении оказались не совсем темными; сквозь зашторенные окна в двух местах пробивался тусклый свет, да еще над запертыми воротами горела слабая лампочка. Он невольно ускорил шаги. На миг почудилось: за воротами ворочается смерть, огромная и бесформенная. Сгусток кошмара, готовый выплеснуться из-за ненадежной ограды с ржавой колючей проволокой поверху. Накрыть, поглотить, растворяя в себе; неумолимо двинуться дальше, распухая инфернальной амебой, выбрасывая ложноножки клубящейся тьмы...

Наваждение накатило, сдавило сердце когтистой лапой инфаркта – и отпустило.

Он медленно уходил прочь, красный от стыда.

Ральф встретил его у крыльца. Нервный, взъерошенный; погладить себя не дал, отскочив. Потом устыдился, снова, как днем, прижался к ногам. Простив собаку, он поторопился оставить ночь за спиной, отгородившись стеклянной дверью ярко освещенного холла. На окнах насмешливо топырили иголки кактусы в грязных горшках. «А ведь эти двери вынести ничего не стоит...» Из приоткрытой дежурки доносился еле слышный храп, да еще в динамике над входом слышно пел знакомый голос:

...что тобой мне назначится?
Чей смертелен оскал?
Остаешься?
Не прячешься?
Выходи из зеркал...

Поднявшись в номер, он упал на взывшую кровать, взял с тумбочки недавно купленный роман Мак-Каммона и погрузился в чужой ужас.

Так было легко.

После седьмой главы он взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Что-то долго этот фильм идет. Или начало затянули? Читать уже не получалось. Прошелся туда-сюда по комнате, как зверь по клетке. Ральф следил за мужчиной внимательными глазами. Все ведь понимает, псина! Небось тоже волнуется: куда хозяева запропастились? Выйти, что ли, встретить? На всякий случай?

В углу, под плинтусом, где скрылся проклятый таракан, что-то блеснуло. Он присел, шаря рукой, нащупал изрядную трещину; хотел брезгливо отереть пальцы, – и тут порезался.

Нож.

Охотничий, с хищным изгибом лезвия. Упор, кишкодер, кровосток. Настоящее оружие. Кто-то забыл или спрятал до поры. С таким ножом поймают на улице – посадить могут. Или откупаться придется. Рукоять только неудобная, слишком короткая, словно для ребенка. На лезвии обнаружилось пятно ржавчины. Он вгляделся, гоня прочь дурные мысли. За спиной тихо отворилась дверь; впрочем, недостаточно тихо, чтобы он не услышал. Рукоятка ножа стала очень, немыслимо удобной, упав в ладонь рукопожатием друга.

Он обернулся.

Утром они уехали первой электричкой.

* * *

Это правда. Мы уехали электричкой. Сейчас, когда я накручиваю километры по Власовской окружной, скучая за баранкой «Опеля», в соснах на обочине метет поземку баловень февраль, а до «Ладушек» пятнадцать минут, если свернуть за Терновцами, – это кажется странным. Но мы с семьей всегда покидаем санаторий в полупустом вагоне электрички, впрессованы в ноябрьские сквозняки, будто мушки в янтаре. Такие себе маленькие, бессловесные *princes of amber*. О машине я вспоминаю позже, дома, равно как и о том, что мог бы заказать такси прямо ко входу. Впрочем, неважно.

Ведь о санатории я тоже, как правило, не вспоминаю целый год.

До срока, когда беру очередную путевку: сутки с питанием.

Это очень дорогие путевки. Очень. Многие не понимают: зачем? Теща не понимает. Коллеги по работе. Подруги жены, большей частью. Стас не понимает, а Стасовой понималке я доверяю больше, чем тому факту, что зиму сменяет весна. Им удивительно. А я не умею, не в силах объяснить, что плачу кучу денег не за номер с фотообоями, чахлую клумбу на центральной аллее и тарелку борща-дистрофика. Я оплачиваю День Всех Святых, явившийся вне календарной лжи, сутки истины, две дюжины часов, разбросанных стальными колючками под колесами машины; я оплачиваю орла и решку паранойи, после которых триста шестьдесят четыре прочих монетки – остаток казны года! – непременно выпадают орлом. Что бы ни случилось, что бы ни произошло со мной или моими родными, я ничего не боюсь, ничего не предвижу и ничего не жду. События обтекают меня, словно вода – риф. Мне везет. Я, моя жена, мой ребенок, моя собака – любимцы Фортуны. А может, мы просто готовы принять все, что угодно, с радостью, лишь бы не ожидать.

Уступчивы и доброжелательны, мы очень любим друг друга. Угадываем желания. Смеемся над шутками. Поддерживаем в трудностях. День за днем. Кроме одного-единственного дня в году, когда я отбрасываю «я», становясь – «он».

Кажется, Альфред Хичкок, старый пройдоха, ныряльщик в пучины ужаса за кровавым жемчугом, сказал однажды: «Бомба с включенным таймером, спрятанная под кроватью, где молодожены занимаются любовью, много страшнее бомбы, взорвавшейся и разметающей этих молодоженов по асфальту». Ожидание страшней всего. Предчувствие ужасней события. Ночь перед казнью острее гильотины.

Я покупаю день дурных предчувствий.

Очень хочется узнать: как они добиваются беспамятства? Всякий раз по приезде в санаторий, с превращением из «я» в «он», ножом под лопатку входит уверенность: «он» здесь впервые. Никогда раньше. Жена молчит, но у нее точно так же. У сына. У собаки. Лишь потом, дома, беспамятство уходит, оставляя осадок удивления: снова? опять?! Ответа нет, а спросить стыдно. Они скорей всего не ответят. Но клиентов в «Ладушках» становится больше с каждым новым визитом. Тех, кому по карману оплатить жертву хмурому божеству. Сейчас, несясь сквозь зиму, мне это ясно с особой отчетливостью. Выросла гроздь домиков возле дубовой рощи; завершено строительство нового корпуса у клуба. Гости, отдыхающие, потерянные души, мы не запоминаем друг друга; на улице города мы пройдем мимо, не узнавая.

Чтобы встретиться позже, привычно не узнав самих себя.

Люди, сполна оплатившие бомбу, детонатор, кровать и неотвратимость взрыва, оказавшегося наглым лжецом. Дав клятву, взрыв забывает прийти на свидание.

У этой истории нет финала. К счастью. Пока нет. В человеческой жизни истории с финалом вовсе не так увлекательны, как на экране или в книге. Просто сутки, оплаченные сполна, от путевки к путевке делаются объемнее, раздуваясь сытой жабой; просто ожидание, предчувствие, напряжение человека, которого зовут «он», становится нестерпимей, набухая фурункулом. Кровать вскипает любовью, и таймер детонатора тщетно стрекочет в пустыне страсти: его не слышно. Полагаю, однажды бомба взорвется.

Что-нибудь произойдет, оправдав предчувствие – раньше чем мы уедем домой.

Это будет не так интересно, но это будет финал.

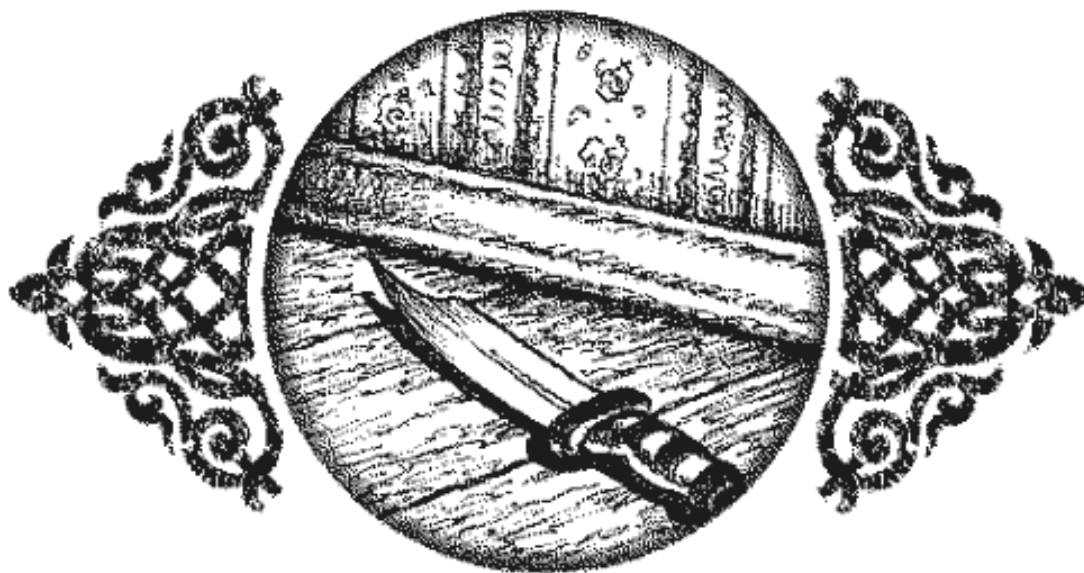
И только песня, которую я слышу из года в год, несуществующая вне «Ладушек» песня, которой я больше не услышу никогда, захрипит в динамиках, седых от снега или равнодушия, летя над безлюдными аллеями:

...что стоишь в углу комнаты?

Что молчишь за спиной?

Уходящие, помните:

Первый выстрел – за мной...



Сосед

Алевтина Антоновна, известная меж соседями как бабушка Вава, продала квартиру. К этому давно шло – решила бы и раньше, если бы не страх перед проходимцами-маклерами, перед зловредными законами, так и норовящими выставить человека бомжем. А тут приехала внучка из Киева, у внучки дом в частном секторе, хватает жилплощади и деньги очень нужны.

Ну и продали за пару месяцев.

Квартиру купил иностранец. Сейчас, говорят, в этом нет ничего удивительного – живут здесь подолгу и покупают, чтобы не тратиться на гостиницы, не снимать чужие углы. А у Алевтины Антоновны была хоть и запущенная, без ремонта, но очень удобная двухкомнатная квартира. И место удачное: зелено, почти в центре.

Артем, деливший с бабушкой Вавой лестничную площадку, заранее подготовил себя к «евроремонту», который обязательно затеет новый сосед. Немец, говорила про новосела консьержка, Зигмунд Карлович, а может, Фридрих Иоганныч, специалист не то по бахчевым культурам, не то по разведению орхидей.

Готовьтесь, значит, к капитальной перестройке.

Артем согласился со всезнающей консьержкой, мастерицей сплетен. Может быть, эта безропотная готовность помогла ему сравнительно легко пережить месяц июль, когда в подъезде не продохнуть было от меловой пыли, строительный мусор вывозился грузовиками, стены дрожали, а молотки и какие-то визжащие электродолбилки не затихали с утра до ночи. Артем тогда уходил в пыльный скверик напротив дома, садился на потемневшую от дождей скамейку и раскрывал книгу. Грыз кончик карандаша, сверялся с блокнотом, прикидывая планы будущих лекций. Нароботавшись в удовольствие, бродил по трем узеньким аллеям, здоровался с мамашами и их детьми, мечтал о том времени, когда защитит докторскую, получит деньги под свой проект и развернет наконец работу как следует. Пусть придется дневать и ночевать в лаборатории – это ведь и есть настоящая жизнь, это, а не закольцованные воспоминания о разрыве с Ириной.

И, уж конечно, не мелочи вроде соседского ремонта...

Наступил август. Начались вступительные экзамены, и Артему стало не до прогулок по парку. Тем временем пол на лестничной площадке вымыли, стены заново выкрасили и даже общественный потолок слегка побелили. Артем подумал, что предположительно-немец, наверное, не такой уж плохой человек. Впрочем, это не имело значения: бронированная дверь с миниатюрным объективом была единственным доступным фрагментом соседской жизни. И Артем, никогда не знавший близко даже с общительной Алевтиной Антоновной, очень радовался установившейся дистанции.

Сосед оказался бесшумным. Бабушка Вава, будучи глуховатой, иногда донимала Антона ревом включенного телевизора, любимая Вавина болонка Чапа также лаяла на редкость заливисто. А с окончанием соседского ремонта однокомнатная квартирка Артема сделалась самым тихим местом на земле. Редко-редко из-за стены доносились обрывки странной музыки на низких частотах, но не раньше восьми утра и никогда позже десяти часов вечера. А потому Артем, который обычно возвращался из института усталым и выпотрошенным, мог сколько угодно лежать на диване, установленном под «соседской» стеной, читать или смотреть в потолок.

Октябрь, дожди и резкие перемены атмосферного давления стали причиной не свойственной ему хандры. Он думал, что работа, всегда приносившая радость, забирает и здоровье, что он располнел в последнее время – к сорока годам станет обрюзгшим лысеющим толстяком.

И печень, зараза, побаливает.

Странное дело: часто, впав в полудрему, он начинал думать о соседе. Как тот ходит, бесшумно перемещается по свежееотремонтированной квартире. Будто воочию видел соседские

тапочки из натуральной кожи – как они ступают по сверкающему ламинату прихожей, по паркету гостиной, по пробковому покрытию спальни. Сосед садится на низкий диванчик, набивает трубку и закуривает. Лежа с закрытыми глазами, уткнувшись носом в маленький бормочущий радиоприемник на подушке, Артем ясно представлял, как сосед улыбается и красный огонек трубки подсвечивает узкое, хищное, в глубоких морщинах лицо...

Сосед представлялся засыпающему Артему три или четыре вечера подряд. На пятое утро они встретились в лифте, чего прежде никогда не случалось. От предположительно-немца пахло свежо и мощно, и Артем вспомнил, что на шлейф этого дорогого аромата ему случилось наступать и раньше – в лифте, где запах держится часами. На лестничной площадке, где обычно царила застарелая вонь табака. Во дворе, где даже ветер не сразу справляется с зависшим над асфальтом парфюмерным маревом.

Сосед улыбался. Он был совершенно такой, как представлялось Артему: рыжеватая борода, длинный тонкий нос и рябые, в бледных веснушках щеки.

– Гутен таг!

– Гутен таг, – пробормотал в ответ Артем.

Больше они не сказали друг другу ни слова.

Тот день оказался особенно трудным. Студенты раздражали, начальство вело себя похамски. К восьми часам Артем едва закончил проверку письменных работ, в большинстве написанных из рук вон плохо. На завтра предстоял неприятный разговор с шефом; маршрутки пришлось дожидаться сорок минут, и, когда Артем добрался наконец до своего дивана, была уже ночь.

За стеной, прикрытой вытертым ковриком, царила тишина, но Артем почему-то знал, что сосед не спит. Он бесшумно бродит по квартире, курит трубку, бормочет под длинный нос непонятные слова. И улыбается. Обязательно – улыбается в рыжеватую бородаку.

И Артем, хоть устал сегодня, не мог заснуть.

Он думал о студентах, которые с каждым набором становятся все глупее и бездарнее. Об их родителях, выкладывающих каждый месяц кругленькую сумму, из которой ему, преподавателю, достаются крохи. О коллегах, завистливых и двуличных, о докторской, которую никогда не защитить, потому что он – неудачник...

Слово пришло из ниоткуда и заставило сесть на кровати. Все сделалось ясно – так ясно, как не бывало давным-давно, с самого детства.

Неудачник. Вот оно что. Вот почему все его ровесники, однокурсники, бывшие друзья обретаются кто в Европе, кто в Америке, кто, на худой конец, в Корее. Вот почему он торчит в институте, который медленно, но верно загибается, где нет денег на самое необходимое, а если есть – они сразу достаются проходимцам, дармоедам, нахлебникам...

И ведь он, Артем, заслужил такую участь. Он всегда был недостаточно умен и дальновиден. Мягкотелый, наивный, он такая же бездарность, как наиничтожнейший из студентов...

Часы показывали полчетвертого утра.

Странно, почему осознание очевидного пришло только теперь? Почему даже уход Ирины – а как можно жить с таким ничтожеством?! – не открыл ему глаза? Как мог он тешить себя надеждами, что-то планировать, чего-то ждать?

За окном стояла плотная черная осень.

Артем лежал под холодным одеялом, скрючившись, глядя в потолок.

* * *

Утром вышло солнце – впервые за много дней, и Артем уверился, что классический «час быка» стал всего лишь реакцией на переутомление. Осень, хандра, поссорился по телефону с сестрой, на работе сквозняки – вот и простудился к тому же... Переживем!

«Все хорошо, – говорил он себе, шагая под дождем к остановке маршруток. – Я здоров. Родители более-менее здоровы. Работа есть... Любимая работа. Квартира есть. О чем мне вообще сокрушаться?»

В маршрутку набилось полно народу. Пришлось стоять.

«...Жизнь такова, какой мы ее видим, – думал Артем. – Самый богатый миллионер и самый удачливый победитель не владеют всем, никогда не достигнут всего. А у меня руки-ноги целы, котелок пока еще варит. Вижу, слышу... не голодаю...»

Маршрутка резко затормозила. Артем ударился головой о поручень.

...Надолго ли?

Что-то случится... А что-то все время случается – с другими. Внезапная болезнь. Увечье. Катастрофа. Случается с другими – значит, рано или поздно случится и с ним. Может быть, его кошмар уже лежит, готовенький, на конвейере судьбы. И шестеренки крутятся медленно, но верно. Ползет гладкая черная лента, и на ней лежит, например... телеграмма. Или...

– Вы выходите? – спросила веснушчатая девушка из-за спины.

Он посмотрел на нее так, что девушка, кажется, испугалась.

* * *

Телефонный звонок в полвосьмого заставил его содрогнуться.

«Со всеми случается. Случилось и со мной...»

Звонил отец, но Артем не сразу узнал его голос. У мамы ночью случился инфаркт, она в реанимации.

Последующие несколько дней слились в один долгий «час быка». Артем говорил с врачами и задабривал медсестер, дежурил у кровати, добывал лекарства, ждал. Ситуация стабилизировалась – никто не знал, надолго ли. Проходили недели. Врачи бесили Артема равнодушием и тупостью; тем временем надвигалась зимняя сессия, его теребили и дергали, и он разрывался между больницей и институтом.

Изредка заезжая домой, он обязательно встречал соседа. Тот либо стоял перед подъездом, задумчиво изучая свое отражение в темных стеклах кремового «БМВ», либо ждал Артема в лифте, заботливо нажав кнопку «Стоп», либо поворачивал ключ в скважине бронированной двери.

– Гутен таг! – и улыбка.

Артем, чтобы не показаться невежей, бормотал ответное приветствие.

* * *

Через месяц маму выписали, но страх не желал уходить. Телефонный звонок в любое время суток повергал Артема в панику. Касаясь трубки, он лихорадочно уговаривал себя, что ничего страшного не произошло, – и заранее знал, что лжет, уговаривая.

Ему звонили сообщить, что старый приятель и однокурсник погиб, сбитый машиной. Что учительница, с которой он до сих пор иногда перезванивался, умерла. Что маме опять стало хуже.

Студенты раздражали все больше. Артем не понимал, какая сила собрала вместе этих уродов, каким волшебным образом вступительной комиссии удалось создать паноптикум в рамках одного курса. Работа над докторской давно была заброшена: Артем возненавидел тему, когда-то казавшуюся столь привлекательной.

Коллеги избегали его. Студенты хамили в лицо. Он платил им презрением, граничившим с брезгливостью.

Лежа по вечерам на диванчике, Артем с отвращением разглядывал покрытый потеками потолок: соседи залили две недели назад и, конечно, не собирались выплачивать компенсацию. Хотелось разрушить этот старый, душный дом, напичканный неприятными, бесполезными, безликими людьми. Хотелось разрушить самого себя; прикрыв глаза, он думал с мрачным наслаждением о веревке, мягко обхватывающей шею. И еще он думал о соседе – тот скользил в тапочках из комнаты в комнату, пил чай, курил трубку и улыбался здесь же, в двух шагах, за не очень толстой капитальной стеной...

Он был совсем рядом. Артему теперь казалось, что он был всегда. Невидимый, но вездесущий сосед-немец. За пленочкой старых обоев, за побитым молью ковром, за стенкой в полтора кирпича.

Рядом.

* * *

Телефонный звонок грянул в половине второго ночи, и Артем понял: это – все.

Он стоял перед орущим аппаратом, кусал губы и чувствовал, как текут слезы по щекам. Протягивал руку – и снова ее отдергивал. А телефон звонил, оглушительный в своем траурном рвении, звонил вот уже десятый раз подряд...

А за стеной курил трубку сосед.

Артем знал, что он не спит. Он не спит никогда. Он сидит за низеньким столиком, и узкое морщинистое лицо подсвечено снизу красным. Он разглядывает Артема сквозь стену – запуганного, отчаявшегося, ненавидящего и презирающего себя и весь мир...

Телефон звонил.

– Подожди, – сказал Артем неизвестно кому. – Подожди...

Сосед за стеной поднял голову, и огонь в его трубке полыхнул ярче.

Что за власть у соседа над человеческой жизнью? Кто дал ему эту власть? Из чьей кожи скроены его бесшумные домашние тапочки?

Телефон звонил.

Кто вертит ручки черного конвейера? Кто выкладывает на ленту все это, что ползет неотвратно, чего боятся все на свете?

И можно ли застопорить конвейер хоть на секунду?!

Артем зажмурил глаза и набрал побольше воздуха. Он попытался представить, что там, на другом конце трубки, – не рыдающая сестра, не седеющий на глазах отец. Там просто глупый выпивший мальчишка, который звонит подружке и ошибся номером.

Он ошибся номером.

Паника была сильнее. Отчаяние затягивало, в нем таилась жуткая прелесть – осознать, как несчастен и беспомощен, понять это до конца, и пусть все, что сейчас случится, подтвердит его слабость.

Сосед смотрел сквозь стену. Артем задержал дыхание, сжал мокрые от пота кулаки.

Но сосед не может его видеть! Он, Артем, скрыт за толстым слоем чешских обоев, которые они клеили триста лет назад вместе с отцом и сестрой. Он защищен изъеденным молью ковриком, купленным на толкучке маме в подарок. Его прикрывает капитальная стена в полтора кирпича. Взгляд соседа не достанет его. Он силен. И все живы...

Казалось, потолок обрушился и лег на плечи. Издалека, сквозь кирпичные обломки, звонил телефон.

Казалось, рвется толстая ткань. И шестеренки невиданного механизма скрежещут, тормозят, высекая искры... Останавливаются.

И медленно-медленно, тяжело-тяжело начинают вертеться в другую сторону.

Хлопнула от ветра форточка – очень резко и очень близко. Пластмассовая трубка легла в ладонь – сама. Будто спрыгнула с рычага.

– Аллю! Светка? Сколько тебе можно трезвонить?

Молодой веселый голос. Шум вечеринки, счастливый девчоночий визг. Музыка.

Артем опустил на край постели.

– Вы ошиблись номером, – сказал он на удивление спокойным и ясным голосом.

И, не добавив ни слова, положил трубку на место.

* * *

Сосед-немец переехал. Теперь в его квартире живут молодожены, и порой Артему приходится стучать в стенку – чтобы сделали музыку потише.

И соседи неохотно, но убирают звук.

Артем встречается с Катей, своей бывшей студенткой. Неизвестно, выйдет ли что-нибудь серьезное из этих встреч...

А вдруг?



Венера Миргородская

Ты, дочка, поправляй меня, не смущайся. Времена сейчас другие, для меня, старика, непривычные, значит, и слова иными стали. Вот ты говоришь «фольклор», по-нашему же «байки» выходит, не иначе. Только неправильно это, политически даже неверно. Фольклор – он у немцев с их музыкантами Бременскими. А у нас какой фольклор? Ведьмы да упыри, басаврюки да потопельники. Тьфу, одним словом! Как с таким добром – да в газету?

А мы прежде не встречались, дочка? Лицо мне твое больно знакомое. Тебя по телевизору, часом, не показывали?

И – ладно! Фольклор так фольклор, будет тебе чего в воскресный номер ставить. Хоть история эта, сразу скажу, совсем не веселая. Не воскресная совсем.

Ну, слушай, дочка!

Началось все, когда разменяли старого пана. Чего с ним сделали? Эх, дочка, твое счастье, если такое переводить требуется. Не слыхала? Руководствуясь, стало быть, революционной законностью... В общем, убили человека. Нагло убили, у крыльца собственного, из дюжины стволов – да в упор. Вот так!

Зима тогда была – январь нового, 1918-го, как раз прежний календарь отменили вместе с праздниками поповскими. Приехал в наши Терновцы из уезда (из районного центра, если по-новому) красногвардейский отряд во главе с самим товарищем Химерным, чтобы революционные завоевания у нас утвердить. Памятник в сквере посреди Ольшан видела? Вот он и есть, товарищ Химерный, даже «маузер» его узнать можно. Прибыли наши славные товарищи, декреты на майдане народу прочли, церковные ворота гвоздями заколотили, и началась правильная власть. А чего правильная власть перво-наперво делать должна? Нет, дочка, про землю и заводы в учебнике написано, на самом же деле требуется врагов лютых известить. Ты права, про такое сейчас лучше не писать, это я тебе для пущей ясности. Собрался народ, и молодежи, и хлопцы, и постарше кто – да всей толпой к маентку панскому. А там, как на грех, старый пан оказался. Хотел уехать, говорят, только не успел. Отчего «на грех»? Так то в прежние годы я такой отчаянный был, сейчас иначе думается. Живой ведь человек тот пан, хоть и его превосходительство.

Надо тебе сказать, дочка, что панов мы наших очень уж не любили. Не только за то, что они лучшую землю к рукам прибрали, а их деды наших на конюшне вожжами охаживали. В соседних селах не лучше жилось. Только панский род – особый. Предки панов наших такими же казаками числились, как и наши прадеды-прапрадеды. Избрали товарищи войсковые своего побратима сотником за доблесть и лихость, а он извернулся – да потомкам своим сотню оставил. И стали они сотниками без всяких выборов-демократий. А потом, когда царица Катерина, тряся ее матери, казаков в крипаков обернула, сотник, что первому сотнику внуком был, все село в крепость и записал, всех своих сотенных товарищей. Были мы войском славным, а стали паны и холопы. Кто ж таких панов полюбит?

А еще рассказывали, будто не просто так наши сотники в великие паны выбились. Не без чаклунства и ворожбы обошлось! Может, и ввали, сама, дочка, говоришь: «фольклор». Только верили в это крепко. Много, ох много о панах-ворожбитах баек сложено было! Считай, в каждом колене у них то колдун, то ведьма, то мертвяк неупокоенный, что по церкви ночами бродит. Словно проклинали род панский за то, что своих собственных товарищей рабами сделали. Оттого и чудили их превосходительства, родных дочек в камне замуровывали. Не слыхала? И про их родичей, что в Ольшанах мертвецкий театр устроили, не знаешь? Ну, это иная история, не для газеты.

И еще знали: великий скарб у сотника имелся. Привез он богатства из земли турецкой, где воевать довелось. И золото там было, и камни цветные, и жемчуг. Не один сундук для того скарба понадобился. Привез сотник добро – спрятал и словцо верное наложил. И будто скарб тот великую силу всему роду их панскому давал; наследники тоже не ленились, к старым сокровищам новые прибавляли.

Всякий в Терновцах про скарб панский ведал. Искать пытались, но только скарб заговоренный найти ох как непросто. Не таков он, чтобы без хлопот в чужие руки даваться! Вот из-за скарба все и случилось.

На пана старого зла особого не держали. Генерал, конечно, адъютант царский, но подлых дел не творил. Сыновья его на войне Германской были, а он, на грех, в имении остался. Эх, чего ему в Париж не уехать?

Пришли мы толпой всей к воротам чугунным, распахнули их настежь. Заходи, казак, кончилось панство! И к крыльцу, а на крыльце – пан. В мундире, в орденах золотых, при сабле наградной.

Ждет.

Поначалу не хотел никто дурного. Прочитал товарищ Химерный приказ о передаче маентка панского в собственность трудового народа да велел пану из дому убираться. Даже время дал – вещи собрать. И все бы тем кончилось, но тут Петро, дядько мой, возьми и крикни: «Скарб! Пускай скарб свой народу отдаст!»

Сколько было мне тогда? Совсем немного, из-за плетня едва выглядывал. Но – помню, не забудешь такое. А дядьке моему двадцать два исполнилось, только с фронта пришел.

И покатилося! Заорали, засвистели, кулаками замахали: «Отдавай скарб! Верни народу!» Старому пану руками бы развести, про «фольклор» напомнить, посмеяться даже. Сама, дочка, знаешь, почти в каждом селе про скарбы байки рассказывают. Так, видать, гордость панская не позволила. Одернул он мундир, ордена золотые на груди поправил – и говорит в полный голос. Как сейчас помню каждое слово: «Не для ваших рук, – говорит, – холопы, скарб наш фамильный! Заговоренный он – на все ваши головы, на всех, кто попробует его достать. Если не жалко вам голов ваших холопских, то пусть его Проклятая покажет, хоть и не с руки ей это. А убьете меня – смерть из-под земли выпустите!»

Крепко сказал. Растерялись мы, переглядываться стали. Непонятно, да и боязно слегка. Слыхали ведь про заклятие-проклятие панское! Но тут кто-то и крикни: «Так ведь церковь ветхая! Ее еще Проклятой кличут!»

А надо тебе знать, дочка, что кроме церкви, которую товарищ Химерный гвоздями заколотил, была у нас еще одна – старая. За селом стояла, больше века как брошенная. Не любили мы то место и церковь старую не любили. Болтали, будто ночами нежить там собирается, шабаши свои справляет. Байки, конечно, но церковь и вправду иногда Проклятой называли.

Что дальше – понятно. Заорали, схватили лопаты и ломы, кто чего нашел. И к церкви – скарб панский искать. А как не нашли, тут же, у крыльца, пана старого в упор и разменяли. Упал он в лужу крови своей панской, поглядел последний раз в небо ночное...

Чего в церкви раскопали? Не ходил я туда, а толковали по-всякому. Будто бы домовина там была, а в домовине той – упырь. И про ведьму говорили, и про иное, что не к ночи. Байки, одним словом! Только знаю – скарба не отыскалось. Потому и озлобился народ.

Потом, как тело панское в реку под лед скинули, принялись по всему маентку рыскать. Даже склепы, где паны, в давние годы усопшие, покой вечный вкушали, и те не пощадили. Ты про это не пиши, дочка, самому вспоминать неохота...

Уехал товарищ Химерный по прочим селам народную власть устанавливать, у нас же разное началось. Сама, дочка, в школе учила, знаешь. То германцы, то гетьманцы... А в 19-м

году, когда красные вернулись, учредили у нас в селе коммуны. Нет, дочка, не колхоз, колхозы после уже появились. Коммуна – чтобы, значит, напрямик в светлое будущее, без пересадок. Возглавил нашу коммуны мой дядько Петро, потому как был он человеком проверенным, партийным. А разместились она в бывшем панском маентке. Я тоже туда записался, хоть и мальчишкой был.

И вот однажды вечером, как с поля мы вернулись, говорит мне дядько Петро:

– А ведь не обманул нас старый пан! Правду сказал, только хитро.

– Ты про что, дядьку? – подивился я. – Про скарб панский? Байки это все, каждый теперь знает!

– Каждый, каждый! – смеется дядько. – А вот пойдем покажу!

И пошли мы напрямик в парк панский. Это сейчас, дочка, от него почти что ничего не осталось, а тогда парк в самой красе стоял. Деревья вековые, кусты розовые, беседки камня резного. Диво – не парк! И вот на дорожке, что мимо флигеля к пруду ведет, видим мы постамент круглый вроде тумбы, а на постаменте том – женщину. Статую, понятно, только тогда я еще слова такого не знал. Стоит себе, красивая, в платье легком, лицо тонкое, заглядеться можно. Но – сердитое. Наверно, потому, что левой руки у женщины нет, отбита по самое плечо. А правая ничего, целая, вперед указывает. Вперед – и вроде как немного вниз.

– Знаешь, кто это? – дядько спрашивает. А сам смотрит на меня хитро так. Мол, не знаешь, а я вот знаю.

Только я тоже не мочалом подпоясанный. Хоть мал был, да любопытен, всю библиотеку панскую (то, что на раскурку еще не пустили) перелистать успел. Конечно, больше картинки в книжках разглядывал, но и картинки помочь могут.

– Это, дядя, – говорю, – богиня римская. Зовут – Венера. Сделали Венеру две тыщи лет назад из камня-мрамора. А потом прадед старого пана ее из страны Италии в наши края привез, потому и зовут ее – Венера Миргородская.

Сказал – и на дядьку смотрю. Знай, мол, наших! А дядько Петро меня по волосам треплет, улыбается:

– Молодец, хлопчик! Верно сказал, только не все. Не две тысячи лет ей, Венере этой. Ее тогда и сделали в стране Италии для прадеда нашего пана. Подобие, а если правильно – точная копия. Венерой Миргородской ее и в самом деле называли, потому что во всей округе такой красоты мраморной еще не видали. Но так ее больше в книжках величали, а меж собой шептали иначе – Венера Проклятая.

Так и обмер я, сообразив, к чему дядько клонит. Поглядел я ей, мраморной, в лицо сердитое, подумал. А потом и удивился:

– Дядько Петро! Да это же просто камень. Как ему проклятым быть?

– А вот узнаю! – отвечает дядько.

И ведь правда – узнал.

Перед тем как урожай собирать, устроили мы, как и полагается, митинг. Про хлеб для Армии нашей Красной речи сказали, про Деникина-гада и его Антанту. Хорошо говорили, душевно – молодые все были, веселые. Стою я в первом ряду, на дядьку гляжу, что телеграмму товарища Химерного читает. Не забыл он нас, из-под самого Киева восточку прислал. И тут смотрю – новенькая у нас. Тоже в первом ряду пристроилась, тоже с дядьки глаз не сводит. Красивая дивчина – и непростая, сразу видно, из города. А то, что на дядьку смотрит, понятно, справным он хлопцем был, дядько Петро, все дивчины в округе сохли. А вот жизнь не заладилась. Едва поп его обвенчал, так на фронт германский и забрали. Пока дядько под Ригой с Вильгельмом бился, жинка сына родила. Родила, бедная, а через неделю и померла. Вернулся дядько с войны, на могилке поплакал, сына Васылька у свояченицы в хате пристроил... И так бывает.

Сказали мы речи, про «проклятьем заклеянный» спели. Думал, все – так нет. Выступает мой дядько вперед:

– Подождите, товарищи! Еще слово к вам имею.

Подумал немного, будто сомнения отгонял, кудрями черными тряхнул.

– Вот чего! Завтра мы в поле выйдем, чтобы хлеб народный не пропал, и не будет у нас заботы важнее. Потому сегодня с иным делом разобраться следует. Я вам расскажу, а вы уж решайте...

И начинает про что ты, дочка, думаешь? Все про тот же скарб. Напомнил, чего было, а после и к Венере мраморной перешел. Не тратил дядько времени даром! Когда в Харьков-город по делам партийным ездил, в библиотеку зашел, а потом еще и в университет тамошний, к панам ученым. Все узнал! Оказывается, Венеру Миргородскую не зря иначе называли. Ох не зря!

– Фигура та каменная, товарищи, – дядько даже голос повысил для убедительности, – по-научному же «статуя», в стране Италии гиблую славу имела с самых стародавних времен. Жертвы ей людские приносили, кровью обливали, не жалея. Вроде как бесов тешили. Такой факт, товарищи!

Зашумели мы, негромко, правда, вполголоса. Кто-то перекрестился даже.

– А пан наш – тот, что статую заказал, хитер оказался. Рассказали мне в городе Харькове знающие люди такую историю: сделал пану мастер итальянский копию точную, мраморную. А пан кому надо лапу салом смазал – и Венеру настоящую подменил. Подменил – и к нам привез. Возмущались люди в стране Италии, только у пана золота хватало, заткнул он тем золотом глотки. Кому заткнул, кому и залил. Развели товарищи итальянцы руками, извинились. Ошибка вышла, мол, погорячились. Вот вам следующий факт, товарищи!

Ох, интересно мне стало! Словно не наяву все, словно книжку читаю про Ника Картера или про самого Шерлока Холмса. Да разве только мне одному? А дядько меж тем дальше ведет:

– Проклятой же ее, статую, прозвали за дело. Как привезли ее в маенток, стали место в парке готовить, пропала в селе нашем дивчина. Красивая была, говорят, получше всякой итальянской Венеры. Искали – не нашли. Только слух прошел, будто пан велел дивчину схватить и под статуей живьем закопать ради чаклунства своего упыриного. Поднялся шум да быстро стих, вновь панское золото всем рты закрыло. Потому и проклята она, Венера Миргородская. Это, товарищи, факт третий и последний.

– Так чего? – не выдержал кто-то. – Выходит, девка мраморная скарб стережет? Она нам золото панское и покажет?

Пустое спросил! Зашумели коммунары, нахмурились. Пусть и неправда все, байки старые, только зачем такая Венера нашей коммуне? Пусть берет кто хочет! Проголосовали – все «за». Гляжу – и дивчина новая «за».

– Вопрос ясен! – рассудил дядько Петро. – Пошли в парк, товарищи!

Нет, дочка, статую ломать не стали. Все-таки резьба затейливая, память историческая. Сняли ее с постамента – и за ограду вынесли. Уноси, не жалко! А потом постаментом занялись. Сковырнули с места, копнули на аршин... Эх, дочка, если бы скарб! Валялись там кости человечьи, а меж костями – монисто стекла цветного да перстенок медный. Выходит, верно говорили люди. И вправду – Проклятая Венера!

Ночью не выдержал, за ограду выбрался, к статуе подошел. Лежит она в траве, спокойная такая, и лицо уже не злое, обычное. Даже почудилось, будто улыбка по губам ее мраморным скользнула. Чего только в темноте не привидится? А я стоял возле нее и думал: неужто паны наши в дикость подобную верить могли? За что дивчину страшной смертью сгубили? Как идол мраморный скарб хранить может? Да и есть ли он, этот скарб?

Вот такой он, дочка, фольклор вместе с Шерлоком Холмсом.

А дядько мой недолго прожил. Дивно даже: молодой совсем, а не на войне сгинул. Так просто умер. Собирали мы урожай наш первый коммунаский, торопились, потому что Деникин уже Харьков взял. Дивчина та, что из города, с нами осталась. Не просто осталась – от дядьки Петра ни на шаг не отходила. Он в поле, и она в поле, он на ток, и она туда же. Даром что городская. Все видели, все и радовались. И в самом деле, сколько такому казаку, черноусому да пригожему, одному жить и сына без мамки на ноги ставить?

Поговаривали, будто инструктор она из союза молодежи, но так ли это, кто знает? А как звали, не запомнил отчего-то. Странно даже, всякая мелочь на ум приходит, а тут!..

Заболел дядько за неделю до Деникина. Мы уже эвакуацию начали, отряд из хлопцев собрали, а он и слег. Говорили, будто лихорадка, врач из Олышан приезжал. Помню, белым мне дядько мой Петро казался, мрамора блеее. И – холодный весь. Думал я: что за лихорадка такая непонятная? Или иную заразу кто занес? А еще помню – дивчина та только возле него и была. Так и сидела, днем, ночью. Не отдыхала даже.

Умер дядько Петро, похоронили мы его, звезду из жести над могилой поставили – и на север, вслед за Красной Армией. Вовремя! На следующий день к нам в село деникинцы пожаловали, а с ними – два сына панских. Ох и не повезло тем из коммуны, кто решил остаться!

И вот что еще странно, дочка. До последней минуты та дивчина рядом с дядькой была, а на погост не пришла. Удивлялись мы все. Как же так? Только не спросишь, не видели мы ее больше.

Про Венеру я через десять лет вспомнил, в самую коллективизацию. Тогда в имении панском уже не коммуна была – МТС. А я в селе нашем комсомолией верховодил. И вот прислали к нам на укрепление хлопца одного – по культурной линии. Решило руководство при станции машинно-тракторной газету организовать, вот его редактором и назначили. Максимом звали. Веселый хлопец, решительный. Прозвище мы ему дали Карандашенко, потому как Максим всегда с собой карандаши таскал – целых семь штук, чтобы, значит, разных цветов были. И вот услышал Максим Карандашенко про историю с Венерой. Услышал – и сразу загорелся, словно сухой очерет. «Найду я скарб!» – сказал. И что ты думаешь, дочка? Нашел – только не совсем то, что думал.

А искал он так. Узнал у всех, кто что запомнил, меня тоже расспросил, целый день не отставал, чего рассказали, в тетрадь записал – и стал крепко думать. Особенно про слова панские, перед смертью сказанные. Помню, он, Максим, эти слова на отдельный листок занес и с тем листком не расставался. «Тут ключ!» – повторял.

Приходит однажды он ко мне – и листок на стол. Гляди, мол, товарищ. Гляжу – подчеркнуты там красным карандашом слова. Какие слова? А те, что «Проклятая покажет». «Думали об этом?» – спрашивает. Думали, отвечаю. «А как думали?» Я ему про тумбу, пьедестал которая, а он головой качает. Не в том, мол, сила.

Вот тогда ему Венера и понадобилась. Только как ее найдешь после стольких-то лет? Сходили мы на место, где она в траве лежала, все вокруг осмотрели. Да где там, словно под землю ушла! То ли еще при Деникине забрали (недаром сыновья панские приезжали!), а может, и наши расстарались, куда подальше определили.

Ладно.

Не вышло с Венерой, тогда Максим ее рисовать стал – со слов наших. Даже дивчину одну попросил на месте, где тумба была, в виде Венеры с рукой протянутой постоять. Дивчина та вроде бы при МТС числилась. Строгая такая, в красной косынке, в очках железных. Почему «вроде бы»? В том-то и дело, что «вроде». Звали? Нет, не помню, давно дело было.

Постояла дивчина вместо Венеры, серьезно так, не улыбаясь, а Максим рисунок закончил, сложил вдвое и ко мне повернулся.

– Как вы мыслите, для чего пан перед смертью те слова говорил? – спрашивает. – С какой радости вам про скарб рассказывал?

– Не из радости, а из злобы классовой, понятно, – отвечаю. – Гонор свой панский напоследок тешил.

– И так быть могло. – Карандашенко кивает. – Только вот иная мысль имеется. Что, если про скарб один он и знал? Сам прятал, сам хранил. И захотелось пану сынам своим место верное подсказать, ведь о его словах все узнают. Но подсказать тонко, чтоб свои лишь поняли.

– «Проклятая покажет»? – начинаю понимать. – Чтобы Венера место указала? Так одной руки у нее не было...

– Зато вторая на месте! – Карандашенко смеется. – Эх, жаль, потеряли мраморную. Ну ничего. Все к одному сходится – сюда рука указывала. В эту самую точку!

И на место среди травы кивает. И мы с дивчиной киваем: вроде без ошибки, туда палец мраморный целился.

И – пошли за лопатами.

Нашли? Да, почти сразу. Земли полсажени сняли, а под ней – крышка деревянная. Сундук! Собрали мы народ, пояснили, что к чему, и стали панскими сокровищами любоваться.

А ничего такого, дочка, там и не было. Оружие только – старое да ржавое. Революеры, патроны к ним и еще другие патроны – к винтовке «мосинской». Вот и весь панский скарб. Патроны и прочее мы в сарае заперли, позвонили куда следует, да и разошлись по работам. Обидно было, конечно. Обманул, выходит, старый пан!

Один лишь Карандашенко не унывал, нас подбадривал. Не верю, мол! Не всё это, совсем другое пан прятал. Хитрость тут, но я хитрость панскую наружу выверну. Уверенно так говорил.

А наутро сгинул наш Максим. Только через три дня и нашли – в речке Студне за четыре версты. Да куда там купался! Одетый был, при оружии. А в «нагане» двух патронов, между прочим, не оказалось. Стрелял напоследок, выходит.

Что началось, понять легко. А тут и дивчина пропала – та, что строгая и в очках. Обыскались – нет нигде. То ли ее вместе с Максимом враги народа угробили, то ли наоборот совсем. Ведь у нас в селе считали, что она в МТС служит, а на станции – будто сельская она, при школе. И документы ее ненастоящими оказались, даже фотография совсем другая.

Верно, дочка, я тоже дивчину, что с дядькой моим Петром дружила, сразу вспомнил. Только не она это – и возрастом не вышла, и лицом иная. Правда, внешность ее мы как раз и не запомнили. Следовательно нас и так, и этак, а мы руками разводим. Очки помешали, наверно. А рисунок, что Карандашенко с нее снимал, пропал, и все записи пропали. Вот и думай как хочешь.

Потом у нас много про классовых врагов говорили и про бдительность утраченную, только кое-кто иначе считал. Нехорошее дело – панский скарб. Ой, недоброе! Не ошибся старый пан, выпустили мы смерть из-под земли.

И снова десять лет Венеру мы не вспоминали. Не совсем, понятно. Говорили меж собой, о скарбе проклятом думали. Многие точно уверовали – есть он, скарб! Хитер был его превосходительство, глаза всем отвел. Эх, не уберегли мы Максима!

После... После, известное дело, война. А как немцы к нам осенью пришли, так с ними один из сыновей панских объявился – младший. В форме немецкой, говорит не по-нашему, но все равно узнали. Узнали – да и поняли, зачем вернулся. И в самом деле, взял он десяток Гансов с лопатами и стал все вокруг перекапывать. Прав оказался бедняга Максим – не знали сыны панские точного места. Но в скарб крепко верили.

Нашли? Не успели – партизаны из отряда имени товарища Химерного о них позаботились. Переводчица, что при немцах была, отряд прямо в маенток провела мимо постов. Чисто всех положили, без потерь почти. И пана-предателя, и немцев его. Вот только дивчина в том бою пропала. Искали, все осмотрели – нет ее. Ну, на войне и не такое случается.

А мне довелось, правда, уже в 1944-м, в санаторий попасть. Нет, это не к тому, что я вместо фронта здоровье укреплял. Ранили меня за Днестром у города Белая Церковь. Плохо ранили, рана загноилась, так что после госпиталя отправили меня долечиваться под город Москву в бывший графский маенток. Ох и маенток! Красиво там, что в доме, что в парке. Статуи стоят мраморные – с руками и без. Вот тут-то я Венеру нашу и вспомнил. Но не из-за мраморов.

Иду я как-то по аллее парковой, красотами любуюсь. Гляжу: вот так диво! Василь, брат двоюродный, дядьки Петра сын! Тот самый – вырос только. В командирской форме, голова в бинтах, грудь в медалях. Ну радость!

Обнялись мы, а потом целый день не расставались, все наговориться не могли. Он про фронт – и я про фронт, он про село наше – и я про село. Он ведь, Василь, из дому еще до войны уехал – на командира Рабочей и Крестьянской учиться. И Венеру вспомнили, чтоб ей еще глубже под землю провалиться. Конечно, это я больше рассказывал, Василь Венеру ту и не видел ни разу. Стало ему интересно, поведал я все, чего помнил: и про дядьку, и про Максима. А Василь кивает, подробности выпрашивает, уточняет. Особенно про панские слова и про то, как статуя пальцем в траву указывала. Выспросил, покрутил головой.

– Не все твой Карандашенко понял, – говорит. – Хитрую вещь паны наши придумали, да мы похитрей будем.

А через дня три позвал он меня в библиотеку. Богатая в санатории оказалась библиотека, с графских еще времен. Усадил Василь меня за стол, книжку большую на непонятном языке развернул – там, где картинка на всю страницу:

– Гляди!

Гляжу. И что ты думаешь, дочка? Она – Венера Миргородская. Вернее, не совсем она.

– Миргородской ее у нас прозвали, – Василь поясняет. – А в Италии именовалась она Венерой Капуанской и хранилась в научном музее в портовом городе Неаполе. В том самом, откуда дивизия пришла, которую я на Волге с друзьями моими добывал, в землю заколачивал. Только не в том интерес. Смотри, все так, как ты помнишь, или иначе что?

Да чего там смотреть? И так ясно: на рисунке-то Венера не с одной рукой – с двумя. Правая – та, что уцелела, – вперед и вниз указывает, а вот левая... Эге! А Василь смеется:

– Чего пан перед смертью говорил? «Проклятая покажет, хоть и не с руки ей это». Так? А почему «не с руки»? Потому, что потеряла она руку! Не иначе по панскому приказу и отбили, чтобы тайну скрыть. А сундук с оружием пан для отвода глаз закопал, умный был, вражина. Это вроде как мы ложный аэродром у себя строили, чтобы немцев-гадов с толку сбить.

Гляжу на картинку – точно. Вот так закавыку удумал старый пан! На сынов своих надежду имел, они-то помнили, куда левая рука указывать должна. Только, видать, не по умишку им Венера оказалась. Оскудели мозги панские!

– Скоро, как отпуск мне выправят, домой заеду, – Василь продолжает. – Возьму с собой дивчину мою, подругу боевую, могиле батьки поклонюсь. А заодно и вопрос с Венерой урегулирую, потому что оставил мне его батька вроде как в наследство. А вопрос почти ясный, только погляжу, куда рука Венерина указывать могла.

А я про другое думаю. Венера – ладно, а вот что за дивчина? Никак скоро на свадьбе плясать?

С дивчиной, как оказалось, Василь в госпитале познакомился. И так познакомился, что решение тут же принял. Значит, и в самом деле – попляшем. Доброе дело!

Нет, дочка, не видел я ее. Саму не видел, а вот фотографию Васыль показал. Красивая дивчина, в форме военной, при медалях. Только лицо какое-то... Не злое, конечно, но будто расстроил ее кто. А так – справная, слов нет. Залюбовался я ею, родственницей моей будущей, а потом взгляд на Венеру, что на картинке, перевел. Протер глаза, снова взглянул... Почудилось, конечно! Это только в твоём фольклоре, дочка, мрамор оживать в силах. Мало ли что чудится? Вот, к примеру, мне все кажется, будто встречались мы с тобой уже, виделись...

А Васыль... Эх, и вспоминать страшно! Погиб Васыль – почти у самых наших Терновцов. Ехал на машине, домой спешил, да и на мину напоролся. Большие там у нас бои были, много смерти железной в земле осталось. И он сгинул, и дивчина, что с ним ехала. Так разнесло бедных, что и узнать нелегко было.

Тем и кончилось, дочка. Положили Васыля рядом с батком его...

Вот, стало быть, дочка, такая история. А скarb? Что скarb! Как Васыля не стало, не захотелось мне о скarбе проклятом и думать. Тони он в болоте, цур ему! Да и мне самому домой попасть довелось не сразу. Долго война кружила, а после войны за кордоном служить пришлось. Ну, это долгий рассказ.

А вот недавно решил я поглядеть, что оно и как. Там сейчас, в бывшем маентке панском, пусто. Дом в войну сгорел, а парк немцы на дрова пустили. Грязно всюду, неуютно, а ведь какая в прежние годы пышность была! Нашел я место, где Венера стояла, – да все разом и вспомнил. Эх, думаю, что за тайну ты, Проклятая, прятала? Представил я ее, мраморную, и руку левую представил. Куда указывала? Ошибиться могу, конечно, но вроде бы на флигель, что напротив стоял, а точнее если – на вход в подвал. Он, подвал тот, сейчас землей закидан, но флигель ничего, стоит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.